

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
СТРАНСТВУЮЩИЙ
ПОДМАСТЕРЬЕ**

Собрание сочинений

Жорж Санд

Странствующий подмастерье

«Алгоритм»

1841

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Странствующий подмастерье / Ж. Санд — «Алгоритм»,
1841 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02865-6

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. Пьер Гюгенен – главный герой романа «Странствующий подмастерье» не просто положительный, он настолько привлекателен, что даже самые преданные почитатели таланта Санд сомневались в его реальности и упрекали автора в чрезмерной идеализации. И тем не менее до самой смерти Санд этот роман оставался ее любимым детищем.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02865-6

© Санд Ж., 1841
© Алгоритм, 1841

Содержание

Глава I	5
Глава II	9
Глава III	13
Глава IV	20
Глава V	24
Глава VI	27
Глава VII	32
Глава VIII	37
Глава IX	42
Глава X	48
Глава XI	52
Глава XII	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64
Комментарии	

Жорж Санд

Странствующий подмастерье

Глава I

[1]

По уверениям господина Лербура, селение Вильпрё было самым живописным местом во всем департаменте Луар-и-Шер, а самым образованным человеком в этом селении господин Лербур втайне почитал себя, разумеется, пока пустовал величественный старинный замок де Вильпрё, принадлежавший знатному семейству, на службе которого вышеупомянутый господин Лербур имел честь состоять. В отсутствие одного просвещенного семейства один только господин Лербур умел здесь писать без ошибок. У господина Лербура был сын, тоже человек не без способностей, уж тут не могло быть двух мнений; вернее, мнение было одно, но разделяли его как раз двое – отец и сын. Правда, злые языки утверждали, что обоим не грех бы подзанять божественной мудрости у Святого Духа.

Вряд ли среди коммивояжеров, что часто бродят здесь из замка в замок, предлагая свои товары, среди купцов, переправляющих скот или припасы с одной ярмарки на другую, найдется человек, который хоть раз не повстречал бы на дорогах Солони пешком, верхом или на таратайке господина Лербура – эконома, управляющего имением и доверенное лицо господ де Вильпрё. Сошлюсь на тех, кто имел счастье знать его. Вы помните, конечно, этого небольшого сухонького, весьма желчного и весьма деловитого человечка; на первый взгляд он казался хмурым и молчаливым, но при ближайшем знакомстве оказывался просто ужас до чего разговорчивым. Дело в том, что стоило ему встретить в своих краях незнакомых людей, как его начинала преследовать мысль: «Ведь они, пожалуй, даже не знают, кто я такой», а вслед за ней приходила другая, не менее мучительная: «Выходит, есть люди, которые этого не знают?» И если незнакомец казался ему мало-мальски способным оценить его достоинства, господин Лербур немедленно делал отсюда вывод: «Нужно же мне объяснить этому доброму человеку, кто я такой!»

И тогда он заводил разговор об агрономии, стараясь ошарашить собеседников каким-нибудь неслыханным новшеством по земледельческой части, ибо господин Лербур – и он ни капельки этим не кичился! – состоял членом-соревнователем агрономического общества здешнего края. Если ему удавалось вызвать интерес и его начинали расспрашивать, господин Лербур не упускал случая промолвить как бы вскользь: «Да, этот способ я проверял на наших землях». А если ему задавали вопрос, хорошие ли это земли, он отвечал: «Как же, превосходные! Целых четыре квадратных лье, есть почва и посуше и повлажнее, есть и чернозем, и суглинок, и всякая прочая».

В Солони с четырех квадратных лье земли не приходится ожидать больших доходов, и здешнее поместье приносило его владельцам всего тридцать тысяч франков. Но у семейства Вильпрё было два других имения, правда, еще менее доходных, которые сдавались в аренду; туда господин Лербур выезжал раз в год, что доставляло ему вдвое больше хлопот, придавало вдвое больше важности, вдвое возвышало его в собственных глазах и составляло предмет долгих разглагольствований на агрономические темы.

Добившись благоприятного впечатления, господин Лербур не без колебаний – он был так скромн, а скромному человеку так неловко открывать свое высокое положение! – позволял себе произнести имя де Вильпрё, и если собеседник к тому времени успевал проникнуться к этому имени должным почтением, господину Лербуру оставалось только произнести, скромно потупив взор: «Всеми делами семейства ведаю я». Но если, на свое несчастье, собеседник зада-

вал вопрос, о каком, собственно, семействе идет речь, – о, тогда горе ему! – господин Лербур брался это разъяснять, и начинались нескончаемые разговоры о родословных, о равных и неравных браках, о троюродных братьях и четвероюродных племянниках. За этим обычно следовал подробнейший перечень движимого и недвижимого имущества, после чего господин Лербур переходил к описанию нововведений и усовершенствований, произведенных им лично. Если какому-нибудь дилижансу выпадало счастье принять в свои недра господина Лербура, никакие толчки на ухабах, никакая тряска уже не способны были пробудить пассажиров от сладостного сна, в который погружали их его бесконечные рассказы об именитом семействе. Начинались они от первой почтовой станции и тянулись до самого места назначения; их хватило бы на целое кругосветное путешествие.

Когда господину Лербуру случалось бывать в Париже, он чувствовал себя там прескверно – в этом кишашем муравейнике никому словно дела не было до семейства де Вильпрё. Никак не мог он привыкнуть к тому, что на улице никто ему не кланяется. А однажды во время театрального разъезда его, человека столь необходимого для процветания дома графа де Вильпрё, просто чуть не раздавили в толпе.

Бесполезно было бы расспрашивать его о нравственных качествах отдельных членов семейства, о различии между ними, об их характерах. То ли из осторожности, то ли по неспособности своей к подобного рода наблюдениям он ничего не мог сказать об этих знатных особах, кроме того, что этот-де куда более или куда менее бережлив или сведущ в хозяйстве, нежели тот. Ибо единственным мерилom достоинства человека и его значительности служило для него количество экю, которое тому предстояло получить в наследство, и когда его спрашивали, приятная ли девица мадемуазель де Вильпрё и хороша ли она собой, он в ответ принимался перечислять статьи ее приданого. Ему было просто непонятно, что кому-то этих сведений может оказаться недостаточно.

Однажды утром господин Лербур встал с постели раньше обычного, что, по правде говоря, было возможно, только поднявшись до вторых петухов. Выйдя из дома, он спустился по главной и единственной улице, именовавшейся Королевской, повернул направо, свернул в довольно чистенький переулок и остановился перед весьма скромным на вид домиком. Солнце едва золотило крыши домов, сонные петухи перекликались хриплым фальцетом, и ребятишки, в одних рубашонках, потягиваясь, одевались перед порогами своих жилищ.

Однако, несмотря на ранний час, в столярной мастерской папаша Гюгенена слышался жалобный скрип рубанка и пронзительный визг пилы; все ученики были на своих местах, и хозяин с отеческой суровостью уже распекал кого-то.

– В такую рань уже на ногах, господин управляющий! – сказал старый мастер, в знак приветствия приподнимая свой синий полотняный колпак.

Господин Лербур с внушительным и таинственным видом поманил его к себе.

– У меня к вам важное дело. Пойдемте-ка в ваш садик, – вполголоса проговорил он, когда тот приблизился, – здесь у меня голова просто раскалывается. Ваши ученики, не иначе как назло, колотят что есть мочи, словно они глухие.

Они прошли через заднюю комнату и, миновав дворик, вступили в сад, представляющий собой небольшой участок, засаженный фруктовыми деревьями, которые, не ведая ни садовых ножниц, ни прививок, пышно разрослись и давали сочные плоды. Тмин и шалфей, росшие здесь вперемишку с гвоздикой и левкоем, наполняли утренний воздух сладким ароматом; густая живая изгородь укрывала гуляющих от любопытных взоров.

Здесь-то господин Лербур, приняв еще более важный вид, и сообщил мастеру Гюгенену, что в замке в скором времени ожидается прибытие господ.

Однако мастер Гюгенен, казалось, вовсе не был так ошеломлен этой новостью, как того хотелось управляющему.

– Что ж, – сказал он, – это уж ваше дело, господин Лербур, мне-то ведь что – разве паркет где понадобится подправить или какой шкаф починить...

– Не об этом речь, есть дело поважнее, – сказал управляющий, – сиятельное семейство, видите ли, имеет намерение – странное намерение, осмелюсь я сказать! – восстановить часовню. Вот я и пришел поговорить с вами: сможете ли вы, вернее – захотите ли, взяться за это дело.

– Часовню? – переспросил папаша Гюгенен, очень удивленный. – Восстановить часовню? Скажи на милость... Чудно, право! Вот уж не ждал, что они такие богомольные. Впрочем, нынче это с них требуется... Поговаривают, будто король Людовик Восемнадцатый...

– Я пришел к вам не о политике толковать, – перебил его господин Лербур, нахмутив брови, – я пришел спросить, не сочтете ли вы зазорным для себя, как для бывшего якобинца, взяться за эту самую работу в замковой часовне и получить от семейства приличное вознаграждение.

– Почему бы и не взяться? Я ведь уже работал на Господа Бога. Только объясните мне толком, что там за работа, – сказал папаша Гюгенен, почесывая голову.

– Всему свое время, – отвечал управляющий, – одно скажу вам: мне велено искать хороших мастеров в Туре или в Блуа. Но если бы за это взялись вы, я отдал бы предпочтение вам.

Такое заявление доставило папаше Гюгенену искреннее удовольствие. Однако, будучи человеком осторожным и хорошо зная характер управляющего, он поостерегся обнаружить подлинные свои чувства.

– Покорно благодарю, что подумали обо мне, господин Лербур, – ответил он, – да, видите ли, работы у меня сейчас прямо невпроворот. От заказов просто отбою нет – в этих краях я ведь только один по столярной части. Как бы не рассердились на меня в округе, если я возьмусь за эту работу в замке. Позовут они другого мастера, да и перехватит он у меня все заказы...

– Зато через год, а то и полгода вы положите себе в карман кругленькую сумму, да еще наличными. Не так уж это плохо! Охотно верю, что у вас много заказов, папаша Гюгенен, но сомневаюсь, чтобы все ваши клиенты сразу расплачивались с вами.

– Прошу прощения, сударь, – отвечал столяр, оскорбленный в своем самолюбии демократа, – клиенты мои – все люди честные и заказывают только то, за что могут заплатить.

– Но расплачиваются-то они не сразу, – заметил управляющий с недоброй усмешкой.

– Расплачиваются не сразу те, кому я соглашаюсь поверить в долг. С нашим братом всегда можно договориться. Мне тоже иной раз случается задержать заказ...

– Ну что ж, – спокойным тоном сказал управляющий, – вижу, мое предложение вас не прельщает. Весьма сожалею в таком случае, что обеспокоил вас, папаша Гюгенен. – И, приподняв свой картуз, он направился к выходу, не слишком, впрочем, поспешно, ибо прекрасно понимал, что далеко ему уйти не придется.

И в самом деле, в конце аллеи старый Гюгенен нагнал его.

– Хоть бы знать, что там за работа такая? – сказал он, делая вид, будто колеблется. – Может, мне с ней и не справиться. Ведь там все старинная резьба. В прежние времена такую резьбу делали потоньше, чем нынче, ну и платили, само собой, соответственно. А теперь ведь как? Времени потратишь больше, а уплатят тебе меньше. Может, у меня и инструмента такого не найдется. Да и господа нынешние уж не так богаты, стало быть и не так щедры...

– Положим, о семействе Вильпрё этого не скажешь, – ответил господин Лербур, гордо выпрямляя свой стан, – за ваш труд вам дадут настоящую цену, можете мне поверить. Уж у меня, когда случается какая работа в замке, недостатка в рабочих не бывает. Ну что ж, придется, как видно, отправляться в Валансе. Говорят, там есть хорошие столяры.

– Любопытно, что за резьба... Не в том ли роде, что та, на кафедре, какую я делал для приходской церкви? – задумчиво продолжал столяр, ловко напоминая собеседнику о превосходной работе, выполненной им в прошлом году.

– Ну нет, у нас резьба будет, пожалуй, позатейливее, – ответил управляющий; как раз накануне он самым внимательным образом осмотрел в церкви эту кафедру со всех сторон и хорошо знал, что сделана она безукоризненно. Но так как он все еще делал вид, будто хочет уйти, папаша Гюгенен наконец решился:

– Ладно, господин Лербур, так и быть, схожу взгляну на эту самую резьбу, потому что, по совести говоря, давненько я там не был, в часовне-то, и уж не помню, какая она и есть.

– Сходите, – ответил управляющий, который, заметив, что мастер становится сговорчивее, тотчас же заговорил более холодным тоном. – За погляд денег не берут.

– К тому же погляд еще не подряд! – подхватил столяр. – Ладно, схожу, господин Лербур.

– Дело ваше, мастер, – отвечал тот, – только имейте в виду, нельзя терять ни одного дня. Я выполняю господский приказ, необходимо решить это нынче же, и твердо. Если к вечеру не дадите ответа, еду в Валансе.

– Черт возьми, и чего так торопиться? – с досадой произнес столяр. – Ладно, схожу сегодня.

– Лучше бы вам пойти немедленно, пока у меня есть еще время и я могу сам проводить вас туда, – спокойно сказал управляющий.

– Ну, так и быть, пошли, – сказал столяр. – Только нужно бы мне прихватить с собой сына, он прикинет, во что это вам обойдется, а поскольку работать мы будем вместе...

– А сын-то у вас столяр хороший? – перебил его господин Лербур.

– Если малость и похуже, чем отец, так ведь работать-то он будет у меня на глазах да по моей указке.

Господину Лербуру отлично было известно, что Гюгенен-младший – работник превосходный. Он подождал, пока отец и сын наденут свои куртки, вооружатся линейкой, угольником и мелком, и втроем они отправились в замок. В пути они больше молчали. Каждый готовился постоять за себя.

Глава II

Пьер Гюгенен, сын старого мастера, был самым красивым юношей на двадцать лье в округе. Благородные, правильные черты его лица казались изваянными скульптором. Был он высок, превосходно сложен, крепок и мускулист, но голову имел небольшую, ноги и руки маленькие – сочетание, встречающееся в родовитых семьях, но для простолюдина не совсем обычное. Большие голубые глаза, затененные черными ресницами, и нежный румянец придавали его лицу мягкое, задумчивое выражение. Голова его достойна была бы резца Микеланджело.

Как ни странно (тем не менее это так), Пьер и не подозревал, что хорош собой; впрочем, не замечали этого и его односельчане, не только мужчины, но и женщины. Отсюда вовсе не следует делать вывод, будто люди этого сословия рождаются лишенными чувства прекрасного. Однако чувство это необходимо развивать, но развить его можно лишь изучением искусства и привычкой к сравнению. Свободная, цивилизованная жизнь людей обеспеченных позволяет им беспрепятственно созерцать шедевры искусства; они сталкиваются с другими людьми, внешний облик которых, благодаря критическому духу, царящему в этой среде, является постоянным предметом обсуждения и сравнения. Все это и формирует их представления о красоте; ведь даже если они имеют дело лишь с современным искусством, то и на нем, независимо от того, пребывает ли оно в расцвете или упадке, лежит все тот же отблеск вечно прекрасного, и мир идеальной красоты сам собой открывается их глазам, в то время как угнетенное сознание бедняка бессильно даже переступить порог этого мира и нередко увядает, так и не проникнув в него.

Оттого-то на деревенских гуляньях любой остроглазый крестьянский паренек, румяный и широкоплечий, пользовался большим успехом и куда лучше мог поплясать с девушкой и развеселить ее, нежели сдержанный Пьер Гюгенен со своей благородной внешностью. Зато горожанки, встречая его, долго смотрели ему вслед и спрашивали друг у друга: «Боже мой, кто этот красавец?» А два молодых живописца, как-то по пути в Валансе забредшие в Вильпрё, были так поражены красотой этого столяра-подмастерья, что вызвались написать его портрет, от чего Пьер сухо отказался, приняв их предложение за неуместную шутку.

Папаша Гюгенен, который сам даже и в старости был хорош собой и отнюдь не глуп, долгое время просто не замечал, как умен и красив его сын. Он считал его крепким малым, работающим, исполнительным, словом, в его глазах сын был неплохим подручным; но хотя в свое время и он считался человеком передовым, нынешние либеральные идеи были ему не по вкусу, а Пьер, по его мнению, был слишком податлив на всякие новшества. Когда-то давно, во времена Республики^[2], папаша Гюгенен слышал от ораторов, выступавших в их селении, рассказы о Спарте и Древнем Риме (в ту пору он даже принял имя Кассий, от которого после возвращения Бурбонов благоразумно отказался) и до сих пор продолжал свято верить в некий, существовавший в глубокой древности, золотой век равенства и свободы. Но он считал – и в этом невозможно было его разубедить, – что с падением Конвента мир навеки отвернулся от правды. «Справедливость похоронена в девяносто третьем, – говорил он, – и что бы там нового ни придумывали, ее вы не воскресите, а только глубже закопаете». Таким образом, он, как это свойственно старикам во все времена, не верил в светлое будущее, и старость его проходила в беспрерывных сетованиях или же в язвительном брюзжании, от которого он не в силах был удержаться, несмотря на свой ясный ум и доброе сердце.

Сына своего он воспитал в истинно демократических убеждениях, но считал, что они все равно теперь ни к чему, внушал их ему как некую тайную веру, которую следует исповедовать молча, подобно несправедливо разжалованному воину, молча хранящему в глубинах своего сердца чувство собственного достоинства. Однако деятельный ум Пьера не мог долго питаться

отцовскими наставлениями. У него появилось желание побольше узнать о своем времени и своей стране – ему уже недостаточно было того, что говорилось об этом дома и в деревне. В семнадцать лет им овладел тот неудержимый дух странствий, который ежегодно отрывает от родных пенат целую армию молодых ремесленников, бросая их в полную опасных приключений жизнь кочующего ученичества, известную под названием *хождение по Франции*. К смутному желанию узнать и понять законы общества примешивалось и благородное честолюбие: он жаждал усовершенствоваться в своем ремесле. Пьер понимал, что существуют приемы работы, более надежные и быстрые, нежели те, еще дедовские, которыми пользовались его отец и другие мастера здешних мест, приемы, основанные на знании теории. Как-то прохожий подмастерье, каменотес, останавливавшийся в их деревне, наглядно доказал ему все ее преимущества, быстро набросав на стене несколько чертежей, с помощью которых процесс его работы, медленный и однообразный, становился значительно проще. С этого дня Пьер решил изучать архитектуру, точнее говоря – научиться делать чертежи архитектурных орнаментов, а также тех, которые встречаются в плотницкой и столярной работе. Он стал просить отца, чтобы тот, снабдив его необходимыми для этого средствами, позволил ему, подобно другим, отправиться в ходжение по Франции. Однако серьезным препятствием к осуществлению его намерения являлось то пренебрежение, с которым относился папаша Гюгенен ко всякой теории. Прошел почти год, прежде чем юноше удалось сломить упрямство старого мастера. Кроме того, папаша Гюгенен был весьма дурного мнения о порядках компаньонажа. Все эти тайные товарищества ремесленников, как бы они там ни назывались, всякие там *Союзы долга* – не что иное, уверял он, как скопища бандитов или плутов, которые якобы хотят знать больше других, а сами только убивают лучшие годы своей жизни – слоняются без толку в городах, орут по кабакам да дерутся на больших дорогах, поливая собственной кровью придорожную пыль, и все это ради каких-то дурацких споров о первенстве.

Некоторая доля истины в этих обвинениях, возможно, и была, однако они настолько противоречили тому почтительному отношению, которое обычно проявляется к компаньонажу в деревнях, что, как видно, у папаши Гюгенена были с ним свои счеты. Местные старожилы рассказывали, будто много лет назад старый мастер как-то поздно вечером притаился домой весь в крови, с разбитой головой; после этого он долго хворал, но, поправившись, так никому и не рассказал, что с ним приключилось. Видно, гордость не позволила ему сознаться, что кому-то удалось одолеть его. Мы подозреваем, что он стал случайной жертвой расправы, попав в засаду, которую устроили своим конкурентам какие-нибудь подмастерья из Союза долга. Так это или не так, но именно с того времени старый Гюгенен затаил злобу против странствующих подмастерьев и стал питать непреодолимое отвращение ко всему, что имело отношение к компаньонажу.

Однако, несмотря на все беды и ужасы, которые пророчил отец юному Пьеру, решение его следовать своему призванию было непоколебимо. Упорство юноши взяло верх, и мастер Кассий Гюгенен вынужден был в одно прекрасное утро отпустить сына на все четыре стороны. Если бы при этом он слушался только собственного сердца, он снабдил бы сына солидной суммой денег, чтобы сделать задуманное странствие более легким и приятным. Но папаша Гюгенен втайне надеялся, что нужда скорей, чем все отцовские увещевания, заставит сына одуматься и вернуться под отчий кров, и дал ему с собой только тридцать франков, да еще предупредил, чтобы Пьер не вздумал в письмах просить о прибавке. На самом деле он намеревался прийти сыну на помощь при малейшей его просьбе и думал только запугать его притворной суровостью. Однако меры эти не помогли; Пьер покинул отчий дом и возвратился только через четыре года. За все это долгое время он не попросил у отца ни единого су, а в письмах ограничивался почтительными вопросами о здоровье и пожеланиями всяких благ. Никогда не писал он ему о своей работе, не делился событиями кочевой своей жизни. Папашу Гюгенена и беспокоило это и обижало. Ему часто хотелось написать сыну что-нибудь ласковое, чтобы смягчить гордого

юношу. Но чувство досады брало верх, и он не мог удержаться от сурового, наставительного тона, за который начинал корить себя, как только письмо было отправлено. В своих ответных посланиях Пьер не высказывал по этому поводу ни огорчения, ни досады; тон их неизменно бывал ласков и почтителен. В решении своем, однако, он был непоколебим. И старый мастер, который, всякий раз как приходило письмо, вынужден был прибегать к помощи кюре, не без удовольствия выслушивал его замечания, что-де почерк Пьера становится все ровнее и красивее, что изъясняется он весьма изысканно, а в слогe чувствуются и мера, и благородство, и даже изящество; все это ставило сына на голову выше и его самого и всех старых мастеров здешнего края, которых старый Гюгенен называл кумовьями.

Наконец Пьер вернулся. Это случилось недели за три до вышеописанного визита господина Лербура. Папаша Гюгенен за эти годы немного постарел, он порядком устал и от вечной работы и от грубых или же строптивых учеников, с которыми ему то и дело приходилось сражаться у себя в мастерской. Но слишком гордый, чтобы жаловаться, он держался всегда бодро, хоть на душе у него порой кошки скребли. И вот одним погожим весенним утром в дом к нему постучал какой-то незнакомый статный юноша. Пьер стал выше на целую голову, у него появилась благородная, уверенная осанка; небольшая черная борода красиво оттеняла его нежное, так и не загоревшее под солнцем лицо. Одет он был в обычное рабочее платье, но как-то особенно опрятно; туго набитый дорожный мешок из свиной кожи за плечами свидетельствовал о достатке его владельца. Переступив порог мастерской, Пьер с улыбкой поклонился, втайне наслаждаясь удивленным, растерянным видом отца, и учтиво спросил, не тут ли живет господин Гюгенен, столярных дел мастер. Папаша Гюгенен весь так и встрепенулся при звуке этого низкого мужского голоса, смутно напоминавшего голос его милого мальчика; ничего не отвечая, он молча глядел на него, а когда Пьер сделал движение, как будто собираясь уйти, подумал: «Какой славный паренек, и до чего же похож он на моего неблагодарного сынка» и вздохнул. Но тут Пьер бросился к нему, отец прижал сына к груди, и они долго стояли обнявшись, молча, потому что оба боялись обнаружить друг перед другом свои слезы.

Прошло уже три недели, как блудный сын вернулся под мирный отцовский кров, и все это время старого мастера не покидало чувство радости, отнюдь, однако, не безмятежное. Тягостное беспокойство минутами овладевало ям. Он прекрасно видел, что Пьер ведет себя степенно, что он разумен в своих речах, усерден в работе. Но удалось ли сыну достичь того высокого мастерства, о котором он мечтал, уходя из дома? Папаше Гюгенену от души хотелось, чтобы честолюбивые эти мечты осуществились, но в то же время он (человек, а тем более мастер своего дела – существо противоречивое!) очень боялся обнаружить, что сын теперь искуснее его самого. Сначала он ожидал, что Пьер сразу же начнет хвастаться своими познаниями, корчить мастера перед учениками, что он перевернет вверх дном всю мастерскую и с видом превосходства предложит отцу выкинуть старый инструмент, столько лет служивший верой и правдой, и заменит новым, фабричного изготовления, который его старые руки отроду не держали. Но ничего подобного не произошло. Пьер даже словом не обмолвился о том, чему он научился за эти годы, а когда отец вздумал как-то спросить об этом, уклончиво ответил, что он старался как можно лучше учиться, а теперь постарается как можно лучше работать. С первого же дня он взялся за дело, беспрекословно выполняя все распоряжения отца, как самый обычный подмастерье. Он ни разу не позволил себе что-либо указывать ученикам, предоставляя хозяйничать в мастерской тому, кому это принадлежало по праву. Папаша Гюгенен, приготовившийся было к отчаянному сопротивлению, был весьма всем этим доволен. В душе он торжествовал, но прямо этого не высказывал и только время от времени позволял себе пробормотать сквозь зубы, что вот-де свет не так уж изменился, как уверяли некоторые, выходит, старые способы работы как были, так и останутся самыми лучшими, придется, видно, согласиться с этим даже тем, кто собирался все по-своему перевернуть. Пьер делал вид, будто не понимает, о чем идет

речь, спокойно продолжая работать, и отцу в конце концов пришлось признать, что сын выполняет все работы безукоризненно и с небывалой быстротой.

– Молодец, – говорил он время от времени, – работать ты научился быстро, и сделано все на совесть.

– Раз вы довольны, значит все в порядке, – отвечал Пьер. Однако когда старик убедился, что его страхи напрасны, им овладели новые сомнения. Ему во что бы то ни стало хотелось услышать из уст сына открытое признание, что прав-то был он, старый Гюгенен. Его бесило, что Пьер пропускает мимо ушей все его намеки, что-де, конечно, от хождения по Франции вреда нет, но и пользы, которую кое-кто похвалялся извлечь, не больно-то видно, никаких чудес он там не нашел, – словом, что не стоило ездить бог знает куда: всему этому можно научиться и дома. Чувство досады на сына все сильнее овладевало папашей Гюгененом, он стал угрюмым и подозрительным.

– Не иначе, как парень от меня что-то скрывает, – говорил он по секрету своему куму, слесарю Лакрету. – Бьюсь об заклад, он умеет больше, чем хочет показать. Работать-то он работает, но так, словно долг мне какой выплачивает, настоящее же свое умение, сдается мне, до поры до времени скрывает, а как станет сам себе хозяин, вот тут-то меня и сокрушит.

– Ну и что ж такого! – отвечал ему кум Лакрет. – Для тебя-то ведь только лучше. Живи себе на покое, сын у тебя один, да и тому помогать с обзаведением не придется, такой и сам всего достигнет, а тебе одно останется – проживать свои денежки да радоваться. Ты что ж, недостаточно еще богат, чтобы бросить работу? Неужто станешь ты отбивать заказчиков у единственного своего дитяти?

– Да боже меня сохрани! – отвечал столяр. – За честию я не гонюсь, и сын мне дороже жизни. А только есть же у человека самолюбие. Думаешь, легко, когда на седьмом десятке тебе утрет нос мальчишка, который и учиться-то у тебя не пожелал, потому что ему этого, видите ли, мало? Как, по-твоему, красиво это со стороны сына прийти и сказать: «Глядите, люди добрые, я работаю лучше, чем отец»? Выходит, отец ни черта не умел?

Так рассуждал старый мастер, однако при сыне сдерживал свою досаду. Он только придирчиво рассматривал каждую сработанную Пьером вещь и если обнаруживал малейший намек на орнамент, резко высказывал свое недовольство. Пьер не обижался и тут же одним движением рубанка состругивал украшение, словно нечаянно возникавшее под его рукой. Он заранее решил терпеливо сносить все, вплоть до унижений, но с отцом не ссориться. Он достаточно хорошо знал отцовский характер и понимал, что ему пока и думать нечего о какой-либо самостоятельности в работе. Он рад был и тому, что приобрел знания, к которым стремился, и ждал того дня, когда удастся их использовать, твердо веря, что день этот рано или поздно настанет. И он в самом деле настал. Это был тот день, когда управляющий привел обоих столяров в замок, чтобы они посмотрели, что за работу им предстоит сделать.

Глава III

Старинная зала, куда их привели, была расположена во флигеле – самой ранней из всех построек, составлявших ныне обширный и богатый замок де Вильпрё. Зала эта некогда была часовней, затем поочередно служила библиотекой, домашним театром, конюшней – в зависимости от метаморфоз, переживавшихся дворянством, или вкусов хозяев замка. Она была выдержана в превосходном «пламенеющем» стиле, и ее деревянные готические арки говорили о том, что первоначально она предназначалась для богослужений. Однако всякий раз, как менялось назначение залы, менялась и ее отделка; последнее обновление такого рода имело место в прошлом столетии, когда резные панели работы мастеров пятнадцатого века обшили досками и затянули холстом, дабы разыгрывать здесь различные пасторали, оперу «Гурон»^[3] и «Мелани» господина Лагарпа^[4].

Теперь, когда сорваны были остатки этого холста, размалеванного блеклыми гирляндами и выпцветшими амурами, под ними оказалась дверь, которая вела в непосредственно примыкающую к часовне башенку, прямо в комнату, где очень любила проводить время одна молодая особа, принадлежавшая к семейству де Вильпрё. Когда обнаружена была эта дверь, явилась мысль сделать из комнаты выход прямо в залу; не было только лестницы. В прежние времена комната эта была молельней, и дверь из нее вела на хоры, откуда владелец замка и его семья слушали церковную службу. В эпоху Регентства^[5] к хорам прикреплен был театральный задник, а в башенке устраивали то фойе для актеров-любителей, то уборную для какой-нибудь примадонны высокого полета. На сцену они попадали с помощью довольно топорно сделанной лесенки, вроде тех, что называются стремянками и которыми пользуются библиотекари, чтобы достать книгу с верхней полки, или художники, когда им нужно дотянуться до верхней части холста; в случае надобности ее можно было передвигать с места на место. Семейство де Вильпрё сумело оценить превосходную старинную резьбу, отвергнутую и изрядно покалеченную предшествующим поколением, и решило использовать это обширное помещение, в котором со времен революции хозяйничали одни лишь крысы да совы.

В соответствии с этим даны были нижеследующие распоряжения: устроить в бывшей часовне (она же бывшая библиотека при Людовике Четырнадцатом, она же бывшая театральная зала при Регентстве, она же конюшня во времена эмиграции^[6]) художественную мастерскую, или, вернее, музей, и снести туда все имеющиеся в замке старинные вазы, мебель, фамильные портреты и старые картины, ценные книги, гравюры и прочие достопримечательности. Места для всего этого, равно как и для всяких слепков, образцов, мольбертов и столов, которые могут в дальнейшем понадобиться, там предостаточно.

Восстановить полностью в первоначальном ее виде часть залы, где некогда находились церковные хоры, впоследствии загороженные сценой и представляющие историческую ценность, для чего вернуть ей полукруглую форму и внешний вид церковных хоров, покрытых деревянной резьбой со скульптурными украшениями. Эту-то резьбу, сделанную из цельного черного дерева, и предстояло теперь восстановить. Обнаруженная каменщиками дверь в башенку должна была, как встарь, выходить на хоры, с которых можно было бы спуститься по винтовой лестнице и которые превращались, таким образом, в огороженную перилами лестничную площадку. Существовало несколько чертежей винтовой лестницы, из них нужно было выбрать самый подходящий.

Эта часовня, лестница и башенка занимают столь важное место в нашем повествовании, что мы считали необходимым описать их самым подробным образом, чтобы они как можно более ясно предстали воображению читателя. Добавим к этому, что одной своей стороной флигель выходил на густо заросшие травой аллеи старого парка, а другой – на небольшой дворик,

или площадку, где в свое время было кладбище, потом цветник, потом фазаний двор; теперь это место было завалено горами щебня.

Вот эту-то наиболее уединенную и наименее посещаемую часть замка, место, как нельзя более подходившее для какого-нибудь убежища философа или мастерской художника, и решено было привести в порядок, сохранив при этом весь его прежний немного таинственный, сумрачный колорит, чтобы здесь, в тишине, предаваться любимым занятиям или прятаться от докучливых визитеров.

Сюда и привел господин Лербур обоих столяров. Старший держался спокойно, младший старался скрыть свое волнение.

Однако, войдя в часовню, Пьер сразу же позабыл обо всем. С той самой минуты, как он переступил порог этой старинной залы, представлявшей собой настоящую сокровищницу столярного мастерства, в нем властно заговорила любовь к своему ремеслу, к которому он относился с той истовой страстью, с какой художник относится к своему искусству. Охваченный чувством глубокого благоговения, – ибо ни одна душа не подвластна так этому чувству, как душа труженика, любящего свое дело, – остановился он на пороге, затем, постояв немного, медленно двинулся к хорам и пошел вдоль них, то спеша подойти к детали, которую ему не терпелось рассмотреть поближе, то замедляя шаг, чтобы полюбоваться общим видом резьбы. Благостное выражение чистой радости озаряло его лицо с полуоткрытым от восхищения ртом, и отец с удивлением смотрел на него, не очень понимая его чувства, и спрашивал себя, что могло так взволновать сына, и отчего вдруг стал он словно еще на голову выше, и откуда у него этот гордый и уверенный вид. Что касается господина Лербура, то подобные чувства вообще были ему недоступны, но, видя, что оба столяра молчат, он решился начать разговор первым.

– Так вот, друзья мои, – сказал он тем особым вкрадчивым голосом, который всегда появлялся у него, когда он собирался поторговаться, – как видите, дела здесь не так уж много. Прошу принять во внимание, что все эти фризy и скульптурные украшения совершенно вас не касаются, для них мы выпишем из Парижа токарей и резчиков по дереву, чтобы заменить недостающие и починить те, что повреждены. Так что на вашу долю остается только самое простое. Нужно вставить куски в попорченные панели, подогнать разошедшиеся части, подправить кое-где филенки, вставить кусочки в карнизы, ну и прочее. Надеюсь, вам не трудно будет обновить и ионики^[7]. Ну а вы, мастер Пьер, во время своих странствий чему-то ведь да научились и, полагаю, справитесь с витыми украшениями на балясинах?

Задавая эти не слишком вежливые вопросы в такой полуриторической форме, управляющий сопровождал их полупокровительственной, полупрезрительной усмешкой.

Папаша Гюгенен, который был достаточно опытным мастером и по мере того, как обходил залу, все больше понимал, какая сложная предстоит им работа, нахмурился, услышав этот вопрос, обращенный к его сыну. В нем еще и сейчас боролись два чувства – тайная ревность художника и гордая надежда отца. И лицо его сразу просветлело, когда Пьер, который, казалось, вовсе и не слушал управляющего, очень спокойно ответил:

– Во время своих странствий, господин управляющий, я научился всему, чему смог научиться. Все эти ионики, витые украшения и всякая подгонка частей – дело самое обыкновенное, здесь нет ничего такого, с чем бы отец не справился. Что до скульптурных украшений, – прибавил он, инстинктивно, из чувства прирожденной скромности, понижая голос, – то, конечно, это весьма заманчиво для нас обоих, потому что это прекрасно и выполнять такую работу большая честь. Однако она потребовала бы много времени; может статься, у нас не окажется для этого подходящих инструментов. Да и найдешь ли еще в наших краях достаточно искусных подмастерьев, которые помогут нам в этом деле? Так что мы будем уж держаться основной работы. А теперь, не можете ли вы показать, где именно должна находиться лестница, и нельзя ли взглянуть на план, о котором давеча вы упомянули?

В глубине часовни, как уже говорилось, находилась дверь – сейчас она была завешена ковром, – когда-то выходившая прямо на хоры, от которых теперь осталось лишь несколько прогнивших досок.

– Ее нужно поставить вот здесь, – произнес господин Лербур, – лестничной клетки в стене нет. Так что придется делать лестницу наружной – она должна быть винтовой и сплошь деревянной. Если хотите, сделайте обмеры. Вон там лестничка, можете придвинуть ее.

Пьер придвинул лестничку и поднялся по ней до хоров, возвышавшихся над полом не более чем на двадцать футов. Он приподнял ковер и стал восхищенно рассматривать превосходно выполненную деревянную резьбу, покрывавшую дверь, и изящный архитектурный орнамент, обрамлявший ее наличники и поле фронтона.

– Следовало бы подправить и дверь, – сказал он, – здесь выломаны гербовые щиты, которые были в середине медальонов.

– Да, их выломали во времена революции, – проговорил управляющий, лицемерно отводя глаза, – это было неслыханным варварством, потому что делал их искуснейший мастер, сразу видно.

Щеки папаши Гюгенена зарделись ярким румянцем. Ему хорошо известно было имя того вандала, чьей рукой некогда нанесен был этот ущерб.

– Времена меняются, – сказал он с улыбкой, в которой было больше ехидства, нежели смущения, – меняются и гербы. В те времена крушили всё, что попадало под руку, и никому в голову не приходило, что когда-нибудь это доставит столько хлопот.

– Но вы-то от этого не внакладе! – проговорил управляющий с недобрым смешком, которым обычно сопровождал свои, как он сам называл их, язвительные шпильки.

– Да и вы не в убытке, господин Лербур, – отпарировал старый мастер. – Не окажись тогда эти двери сломанными, не было бы теперь у вас ключей от них. А если бы замок этот не понадобилось продать, вряд ли бы младшей ветви господ Вильпрё так повезло: им никогда в жизни не удалось бы откупить этот замок у старшей ветви за ассигнации, а значит, и стать такими богатыми.

– Семейство де Вильпрё всегда было богатым, – надменно произнес господин Лербур. – Насколько мне известно, они и до покупки имения не были нищими.

– Ба! – насмешливо заметил папаша Гюгенен. – Все мы нищие у Господа Бога, все под ним ходим – кто пешком, кто верхом, кто в карете.

Пока шла эта не относящаяся к делу перепалка, Пьер внимательно рассматривал дверь. Но когда он попытался открыть ее, чтобы взглянуть на другую ее сторону, господин Лербур его остановил.

– Сюда нельзя, – строго сказал он, – дверь заперта изнутри. Здесь комната мадемуазель де Вильпрё, и входить сюда в ее отсутствие разрешено только мне.

– Однако придется же когда-нибудь снимать ее с петель, чтобы починить, – заметил старый Гюгенен. – Или вы хотите, чтобы она так и оставалась с дырами?

– Об этом мы поговорим после, – отвечал господин Лербур. – Пока речь идет только о лестнице. Так вот, значит, здесь она должна стоять. А теперь будьте добры спуститься, я покажу вам план.

Пьер спустился с хоров, и управляющий развернул перед ним несколько больших гравюр. Это были офорты – копии с различных интерьеров фламандских художников.

– Барышне угодно, – пояснил господин Лербур, – чтобы лестница была сделана на манер одной из тех, которые вы видите здесь. Требуется найти среди них такую, которая наиболее подходит к стилю этой залы, и взять ее за образец. Вот я и поручил нарисовать план, сообразуясь со всеми правилами геометрии. Надеюсь, если хорошенько вам его растолковать, вы сможете им воспользоваться?

– Этот план не годится, – произнес Пьер, едва бросив взгляд на чертеж, который управляющий с важным видом развернул перед ним.

– Ну что это вы такое говорите, мой друг, – сказал управляющий. – Этот план сделан моим сыном – моим собственным сыном!

– Значит, ваш сын ошибся, – очень спокойно отвечал ему Пьер.

– Да будет вам известно, мастер Пьер, что сын мой служит в управлении шоссейных дорог! – закричал господин Лербур, побагровев от досады.

– Охотно верю, – сказал, улыбаясь, Пьер, – но будь ваш сын сейчас здесь, он сам бы увидел, что ошибся, и начертил бы план заново.

– Уж не вы ли собираетесь ему указывать как, господин умник?

– На это ему указал бы его собственный здравый смысл, господин управляющий, тогда я мог бы точно следовать этому плану.

Папаша Гюгенен тихонько ухмылялся в седую бороду; он был в восторге: сын мстил господину Лербуру за те намеки, которые тот позволил себе в отношении бывшего Кассия.

– Ну-ка, поглядим, что за план, – сказал он с видом знатока и, вытащив из кармана своей длинной, доходящей до самых колен рабочей куртки роговые очки, оседлал ими нос и внимательно стал рассматривать чертеж, хотя ровно ничего в нем не понимал. Чертежи всегда были для старого мастера книгой за семью печатями, он относился к ним с презрением, но на этот раз чутьем понял, что прав его сын, и уверенно заявил, что план действительно не годится, это сразу же бросается в глаза. Он говорил так уверенно, что Пьер уже было подумал, не научился ли отец в его отсутствие читать чертежи, когда заметил, что тот держит план вверх ногами, и поспешил забрать у него бумагу, опасаясь, как бы управляющий, который, впрочем, и сам был не слишком сведущ в подобного рода материях, этого не заметил.

– Ваш уважаемый сынок, может, и весьма смышлен по части всяких там шоссейных дорог, – говорил папаша Гюгенен усмехаясь, – но только я что-то не слыхивал, чтобы на дорогах часто строили лестницы. Знай сверчок свой шесток! Так-то, господин Лербур, не в обиду будь вам сказано!

– Так, значит, вы не беретесь делать эту лестницу? – спросил господин Лербур, обращаясь к одному только Пьеру.

– Нет, почему же, берусь, – мягко ответил Пьер. – Только план я начерчу новый, хотя и в том же роде. Вот здесь будут дубовые перила с ажурной резьбой и скульптурными украшениями такого же стиля, что и на этих деревянных сводах.

– Так вы к тому же еще и скульптор? – колко спросил Лербур. – Выходит, на все руки мастер?

– О нет, далеко не на все, – простодушно отозвался Пьер и вздохнул. – Я многого не умею даже из того, что мне следовало бы уметь. Но попробуйте испытать меня, может быть, я вам ужоу, и тогда вы простите меня за то, что я осмеливался вам перечить. Мне не хотелось вас обидеть, даю вам слово. Если бы нужно было строить мост или дорогу прокладывать, я рад был бы поработать под началом у господина Изидора и, уверен, многому бы у него научился.

Несколько смягчившись, господин Лербур согласился в конце концов выслушать суждения Пьера о недостатках в чертеже лестницы. Объяснение это, сделанное как нельзя более мягким тоном, оказалось столь ясным, что папаша Гюгенен сразу же все понял, ибо благодаря многолетней практике и врожденному здравому смыслу превосходно разбирался в своем ремесле. Зато господин Лербур, который так же мало смыслил в теории, как и в практике, обливался потом, силясь понять хоть что-нибудь в словах Пьера. В конце концов они сошлись на том, что Пьер сделает новый чертеж и чертеж этот будет показан архитектору, пользующемуся доверием семейства де Вильпрё.

Господину Лербуру пришлось по вкусу мысль проверить таким образом молодого столяра, прежде чем поручать ему работу. Разговор о смете и вознаграждении за труд решено было отложить до заключения архитектора.

По пути домой отец не сказал сыну ни единого слова. До вечера было еще далеко, и они вернулись к оставленной работе. Папаша Гюгенен передавал сыну доски, тот их обстругивал. Держался он без малейшего признака высокомерия, так же, как и обычно. Зато старик отдавал свои распоряжения менее самоуверенным тоном, да и с сыном разговаривал как-то более уважительно, нежели прежде. Он снизошел даже до того, что спросил у Пьера, оправдывает ли себя способ обработки, который тот применял при обстругивании некоторых досок.

– Ваш способ не хуже, – ответил ему на это Пьер.

– Но твой все-таки лучше? – продолжал допытываться старый мастер.

– Мне просто так легче, – ответил Пьер.

– Значит, ты считаешь все же, что мой способ хуже? – не отставал от него папаша Гюгенен.

– Вовсе нет, – ответил юноша, – у вас получается то же самое, только тратите вы на это немного больше времени и труда, вот и все.

Старый мастер понял деликатную критику и скривил было губы, но одобрительная усмешка тут же стерла эту невольную гримасу обиды.

После ужина Пьер взялся за дело. Он нашел карандаш, вооружился линейкой и циркулем, вытащил из своей папки большой лист бумаги, провел на нем ряд линий, потом принялся соединять прямые с кругами и полукругами, разворачивать проекции, и к полуночи план был готов. Папаша Гюгенен, который притворялся, будто дремлет, сидя у очага, украдкой через плечо сына следил за его работой. Но когда он увидел, что Пьер закрывает свою папку и, ни слова не говоря, собирается ложиться спать, старик не выдержал.

– Пьер, – произнес он немного сдавленным голосом, – не много ли ты берешь на себя? Ты что же, и вправду уверен, что лучше понимаешь в этих делах, нежели сынок господина Лербура, который обучался в разных там заведениях, а теперь состоит на государственной службе? Нынче утром, когда ты растолковывал, в чем его ошибки, мне показалось, что ты прав, хотя слова ты употреблял такие, каких я сроду не слыхивал. Но одно дело судить другого, а иное – сделать самому. Откуда ты знаешь, что ты не напутал чего-нибудь во всех этих линиях, какие начертил здесь, на бумаге? Вот как наложишь одно на другое да приладишь, тут оно сразу видно, так ты сделал или не так. Даже если и ошибешься – беда не так уж велика: пропал день да дерево зря извел, только и всего. Переделаешь потихоньку, никто ничего не заметит, и все в порядке. А здесь – проводи ты не так одну какую-нибудь черту, как все эти милые господа ученые, к которым ты так льнешь, поднимут крик: ничего, мол, он не знает, ничего не умеет – и прости-прощай твое доброе имя. А ты ведь только начинаешь. Возьмем хотя бы меня; я сорок лет уже занимаюсь этим ремеслом, и ничего, слава богу: и люди уважают и заказами не обижен. А ошибись я в свое время хоть разок на бумаге – пиши пропало! Потому я никогда и не тягался с теми, кто воображал, будто знает больше меня. Я шел себе спокойно своей дорожкой и жил всегда по пословице: «Мастера узнают по работе». Берегись, сынок, смири свою гордыню!

– Гордыня здесь ни при чем, дорогой отец, – отвечал Пьер, – я ведь вовсе не хочу кого-то унижить или набить себе цену. Но есть вещи неоспоримые, существующие помимо нас, и никакая зависть, никакая гордость над ними не властны. Это истины, основанные на расчетах и опыте. Всякий, кто понял это и хоть раз применил их на деле, никогда не станет работать иначе. Способ, которым работаете вы, я уже говорил вам это давеча, способ хороший, потому что вам всегда удастся осуществить задуманное. Чем больше я присматриваюсь к тому, как вы работаете, отец, тем больше вами восхищаюсь: каким же умом, какой сообразительностью, какой сноровкой надобно обладать, какая должна быть память, чтобы, не зная геометрии, делать все так, как делаете это вы. Вас, с вашим талантом, теория уже ничему научить

не может. Но вам понятна станет благотельная роль теории, если я скажу, что с ее помощью самый тупой из ваших учеников в короткий срок может усвоить наше ремесло. Разумеется, искусства вашего он не достигнет, но зато никогда и не ошибется, и ему не нужно будет для этого проработать сорок пять лет подряд. Всякая точная наука – не что иное, как результат практического опыта всех людей, обобщенного и истолкованного посредством специальных терминов, которых вы зря пугаетесь, потому что с помощью этих точных терминов рабочие приемы усваиваются легче, чем при том обучении на глазок, которое принято у нас. Умей вы в свое время чертить, вы бы уже в двадцать лет умели делать то, что усвоили лишь к сорока ценою упорного труда, и свой недюжинный ум могли бы направить на что-либо другое.

– В твоих словах есть доля правды, – сказал папаша Гюгенен, – да только что с того? Ты думаешь, управляющий обрадуется, если окажется, что его сынок дал маху? Только рассердится, а работу, о которой утром толковали, отдаст кому-нибудь другому.

– Ведь ему важно угодить своим господам. Вспомните, отец, господин де Вильпрё – человек горячий, требовательный, расчетливый; Лербур прекрасно понимает, что работа должна быть выполнена хорошо, но недорого. Потому-то он к вам и обратился, даром что терпеть не может бывших патриотов. Не бойтесь, работа в замке достанется вам, тем более что архитектор, конечно, скажет ему, что вы работаете лучше многих.

Папаша Гюгенен, успокоенный разумными доводами сына, уснул безмятежным сном, а спустя три дня его уже вызвали в замок для разговора с архитектором, прибывшим сюда, чтобы осмотреть все собственными глазами и составить смету предстоящих владельцу расходов.

Архитектор с самого начала был склонен решить спор в пользу более влиятельной стороны, то есть господина Лербура и его отпрыска, а потому, быстро бросив взгляд на оба чертежа, сразу же воскликнул:

– Тут и говорить не о чем, план вашего сына превосходен, любезный мой Лербур! Ну а ваш, милейший Пьер, ваш, увы, хромает на все четыре ноги! – С этими словами он небрежно отбросил чертеж чиновника управления шоссейных дорог, совершенно уверенный, что это план столяра.

– Позвольте, сударь, – с обычным спокойствием проговорил Пьер, – план, который вы отбросили, вовсе не мой. Соболаговолите взглянуть на тот, что у вас в руках: там на последней ступеньке лестницы мелкими буквами значится мое имя.

– Черт возьми, верно! – воскликнул архитектор, весело расхохотавшись. – Что ж, мне очень жаль, мой бедный Лербур, но сынок ваш явно ошибся в расчетах. Ну ладно, не огорчайтесь, это со всяким может случиться. А ты, дружок, – и, повернувшись к Пьеру, он похлопал его по плечу, – свое дело знаешь и, если работаешь так же хорошо, как и чертишь, не пропадешь. План сделан с большим вкусом и разумением, – продолжал он, вглядываясь в чертеж, – лестница будет и удобной и красивой. Берите-ка этого столяра и не раздумывайте, почтенный Лербур, от добра добра не ищут, неизвестно еще, на кого нападете, если станете выписывать мастера издалека.

– Я и без того собирался это сделать, – ответил Лербур с невозмутимостью истинного дипломата. – Я умею ценить таланты и отдавать должное достойнейшему, кто бы он ни был. Мой сын в геометрии человек весьма сведущий, но он так молод, так горяч...

– Ну, разумеется, разумеется, думал небось о какой-нибудь красоточке, пока чертил, – сказал архитектор. – Собою он недурен, наверно от них отбоя нет...

Управляющий захихикал своим деревянным смехом, напоминающим звук трещотки, в ответ ему, словно колокол, загудел густой смех архитектора. Исчерпав весь свой запас соленых шуток, они приступили к составлению общей сметы, между тем как столяры подсчитывали стоимость своей работы. Цены называл Пьер и, хотя господин Лербур отчаянно торговался, твердо стоял на своем. Впрочем, цены он назначал весьма умеренные, и папаша Гюгенен, предвидевший, что управляющий еще заставит их сократить, в душе сетовал на неопытность сына,

не знающего, как дела делаются. Однако Пьер твердо стоял на своем, и архитектор, вынужденный признать, что лишнего он не запрашивает, разрешил наконец спор, прошептав управляющему на ухо:

– Соглашайтесь-ка лучше, а то как бы старик не раздумал.

И договор был подписан. Архитектор пообещал самолично проверить работу по ее окончании. В итоге старый мастер был отнюдь не в проигрыше, особенно если вспомнить, что при существующем еще пока порядке вещей интересы рабочего всегда приносятся в жертву предпринимателю.

– Ну, – сказал он сыну по пути домой, – ты, как видно, и вправду мастер на все руки. Первый раз в жизни со мной такое случается: сколько запросил, столько и получу.

Глава IV

Спустя неделю отец и сын Гюгенены, полностью рассчитавшись со своими деревенскими заказчиками, водворились в часовне и приступили к работе. В Париже в подобных случаях мастера имеют обыкновение почти всю работу делать у себя на дому, а на месте лишь устанавливают и пригоняют уже готовые части. Но в усадьбах и замках само ремонтируемое помещение нередко превращается в мастерскую, где вся работа производится с начала до конца.

Обычно Пьер поднимался на рассвете. Первые лучи солнца только еще начинали золотить верхушки деревьев парка, а он уже стоял в часовне со своим циркулем, делая разметку на дубовой резной панели, и когда ученики с еще припухшими от сна глазами вбегали в мастерскую, каждому приготовлена была его часть дневной работы.

Однажды вечером Пьер задержался в часовне допоздна; внимательно всматриваясь в резьбу панели, он мелом намечал на ее почерневшей от времени поверхности очертания орнаментов, которые предстояло восстановить, и так углубился в это занятие, что не заметил, как наступила ночь. В мастерской уже никого не было. Отец вместе с учениками давно ушел домой, все замковые ворота были заперты, а во дворах спущены сторожевые псы. Бдительный управляющий, с удивлением заметив среди полной темноты пробивающийся сквозь окно часовни свет, поспешил туда со связкой ключей в одной руке и потайным фонарем – в другой.

– Как, это вы, мастер Пьер? – воскликнул он, осторожно заглядывая через полуоткрытую дверь. – Неужто вам дня мало?

Но когда Пьер объяснил, что ему надо поработать еще около часа, господин Лербур совершенно успокоился и отправился к себе предаваться отдыху, наказав столяру не забыть перед уходом задуть лампу и хорошенько запереть двери. Уходя, он дал Пьеру ключик от одной из калиток парка.

Пьер поработал еще часа два и, покончив наконец с затруднявшими его расчетами, уже собрался было домой, когда услышал, как на замковых часах бьет два часа. И Пьер подумал, что если его возвращение из замка в столь поздний час будет замечено в деревне, это вызовет всякие пересуды. Ему не хотелось окончательно прослыть чудаком, и без того уже его страсть к учению создала ему такую репутацию. К тому же через несколько часов должны были прийти ученики, их следовало встретить и распределить между ними работу; если он сейчас уйдет домой, то может легко проспать. И Пьер решил провести остаток ночи в мастерской на куче опилок и стружек. Ложе оказалось достаточно мягким. Под голову он подложил свою куртку, а укрылся рабочей блузой. Однако уже перед рассветом через окна, из которых вынуты были рамы, стала проникать утренняя сырость, и Пьер, – а его еще днем изрядно просквозило, пока он стоял на лестнице, – почувствовал, что совсем заоченел. Он поглядел вокруг, ища, чем бы ему еще накрыться, и взгляд его упал на старый ковер, прикрывавший ту маленькую дверь, о которой шла речь в предыдущей главе нашего повествования. Дверь была теперь снята с петель для починки, ее заменял ковер. Пьер взобрался по лестничке на хоры, чтобы взять этот ковер, и тут только вспомнил, что предусмотрительный управляющий накрепко прибил его со всех сторон к стене, дабы ни пыль, ни чей-нибудь дерзкий взгляд не могли проникнуть в заветный кабинет мадемуазель де Вильпрё.

Пьер вспомнил также, какой многозначительный вид был у господина Лербура в тот день, когда он не позволил ему даже приоткрыть эту дверь, чтобы разглядеть резьбу на противоположной ее стороне. И непреодолимое любопытство вдруг овладело им, но не то пошлое, праздное любопытство, что свойственно натурам ограниченным, а та жажда нового, которая присуща человеку с живым воображением, не получающим всего того, что могло бы быть ему доступно.

«Наверно, в кабинете этой самой барышни из замка собраны разные произведения искусства, которые будут потом перенесены в залу, – подумал он, – не иначе, как там полно всяких книг и картин, и, уж конечно, – а для меня это самое интересное, – там есть и редкая, старинная мебель. А что, если взглянуть? Для этого достаточно вытащить два-три гвоздика. Ведь не шпион же я, не вор какой-нибудь. И чем может дыхание моей груди, взгляд моих глаз, благоговейших перед прекрасным, осквернить это святилище?»

И Пьер решился. Быстро вытащив с одной стороны гвозди, он откинул край ковра и вошел. Кабинет мадемуазель де Вильпрё помещался в небольшой полукруглой ротонде, занимавшей третий этаж одной из башенок замка. Это была прелестная комната, освещенная широким окном, откуда открывался вид на далеко простирающиеся сады, леса и поля. Все убранство комнаты говорило об изысканном вкусе ее хозяйки. Прекрасный турецкий ковер, узорчатые шелковые занавеси, старинные гравюры в роскошных рамах, мольберт, красивый ларь эпохи Возрождения, такого же стиля поставец, слепки, книги, распятие, позолоченная, раскрашенная старинная люгня, череп, китайские вазы и еще множество других примет современного вкуса – того особого ученого, изысканного и эксцентрического стиля, который требует бесцельного, беспорядочного нагромождения старинных предметов различных времен и под видом почитания прошлого выражает непочтение к настоящему. Такова была кунсткамера, представлявшая взору молодого рабочего. В ту пору интерес к разного рода редкостям не проник еще в обыденную жизнь. Лавка со старым хламом не превратилась еще в неизбежную принадлежность парижских улиц, какой она сделалась теперь даже на окраине, подобно булочной или вывеске на винной лавке. Считалось хорошим тоном разыскивать эти остатки потускневшей роскоши наших предков на набережных Сены. Не так просто, как в наши дни, было найти искусных мастеров-реставраторов. Все, что в свое время было похищено из бывших дворцов или изгнано Империей, объявившей моду на все греческое и римское, еще оставалось в лачугах или валялось по чердакам, откуда всего несколько лет тому назад их стала являть на свет волшебная палочка современной моды. Никому не приходило тогда в голову сомневаться в подлинности этих вещей, ибо их не научились еще так искусно подделывать; наконец, они стоили дороже, потому что считались очень редкими. Окружать себя такими разнородными предметами и жить среди пыли прошлого было модой, притом модой изысканной и распространенной лишь в высших слоях общества или среди изысканных художников. Отсюда-то и пошли в литературе всякие кубки, старинные ларцы и шкафики, подробные перечни домашних утвари и воинских трофеев, восторженные описания кольчуг, кинжалов и щитов и всякие иные увлечения в искусстве, ребяческие, но плодотворные, которые во все времена призваны были забавлять и разорять людей богатых, праздных и тех, кто им подражает, вроде нас с вами.

На простодушного Пьера все эти безделушки произвели огромное впечатление; он вообразил, что мадемуазель де Вильпрё – особая, артистическая натура, что она единственная на свете барышня, способная сидеть на стуле времен Карла Девятого^[8] и отваживающаяся держать череп среди своих кружев и лент. Его восхищала эта девушка, которую, как ему теперь смутно припоминалось, он видел когда-то ребенком, и он чувствовал себя вдвойне счастливым при мысли, что благородный труд, предстоявший ему в часовне, будет совершаться под покровительством той, кто способна оценить по достоинству его искусство. Затем он долго, с наслаждением вглядывался в гравюру Моргена^[9] – то была «Мадонна на стуле» Рафаэля, и юная хозяйка замка вдруг представилась ему именно такой – ангельски доброй и сильной. Взволнованный, восхищенный, он позабыл обо всем на свете и остался бы здесь до самого вечера, когда бы не шум, раздавшийся неожиданно за окном, – то шли по аллеям парка, насвистывая, ученики, спешившие в мастерскую. И Пьер поскорее выбрался из башенки и вернулся в мастерскую, не забыв предварительно вновь приколотить ковер.

С этого дня господин Лербур не раз спрашивал у него, когда же дверь в комнату мадемуазель де Вильпрё будет наконец починена и навешена. Управляющий начал даже гневаться: он

говорил, что через ковер туда проникает пыль, что, того и гляди, приедут господа, и барышня будет крайне недовольна, если ей сразу же по приезде нельзя будет запереться у себя в башенке, потому что это ее самая любимая комната, словом – что дверь надлежит навесить незамедлительно; он то ласково просил, то грозно требовал, негодуя вращая своими маленькими глазками. Пьер всякий раз обещал, но сам и не думал выполнять обещание. Он так искусно запрятал эту дверь среди досок, что никто, кроме него, не мог бы ее там найти. К тому же остальная работа так и кипела, и господин Лербур просто не осмеливался слишком выказывать свой гнев.

А дело было в том, что Пьер уже не однажды оставался в башенке далеко за полночь; часами простаивал он в немом восторге перед какой-нибудь гравюрой, слепком или старинной мебелью. Но больше всего манили его красивые, с золотым тиснением, корешки книг, мерцавшие на полках небольшого старинного шкафика черного дерева. Ему стоило только протянуть руку, чтобы удовлетворить свое любопытство, но что-то удерживало его. У него было такое чувство, словно он злоупотребит чьим-то доверием, если коснется этих роскошных переплетов своими загрубевшими от работы руками. Но однажды в воскресенье, когда в замке никого не было, даже господина Лербура, Пьер все же поддался искушению. По воскресным дням он ходил особенно чисто одетым, потому что обладал врожденным чувством изящного и малейшее пятнышко на одежде, слегка запачканные руки или волосы беспокоили его гораздо больше, чем это, быть может, следовало ожидать от благоразумного ремесленника. Он взглянул на себя в высокое зеркало, стоявшее в кабинете, и, убедившись, что одет он хоть и более скромно, чем одеваются буржуа, но все же вполне прилично, решился наконец взять с полки книгу и раскрыть ее. Это оказался «Эмиль»^[10] Жан-Жака Руссо, которого Пьер знал чуть ли не наизусть. Он раздобыл его в свое время в Лионе и читал ночами с несколькими подмастерьями, с которыми близко сошелся в пору своего хождения по Франции. На той же полке Пьер обнаружил «Мучеников» Шатобриана^[11], томик трагедий Расина, «Жития святых», письма госпожи де Севинье^[12], «Общественный договор»^[13], «Республику»^[14] Платона, несколько томов «Энциклопедии»^[15], различные исторические сочинения и много других книг, которые довольно странно было видеть рядом. Ему понадобилось три месяца, точнее – двенадцать воскресений, а всего часов шестьдесят, чтобы залпом проглотить большую часть этих сочинений, хотя читал он не подряд, а только просматривал, стараясь схватить самую суть. Эти часы, не раз говорил он впоследствии, были лучшими в его жизни. Некий романический привкус, сопровождавший это чтение, делал для него еще пленительнее поэтичность одних книг и придавал особую значительность другим. Но более всего захватывали его те, в которых он обнаруживал философские рассуждения, касающиеся истории законодательства. Он жадно искал в них объяснение великой загадки возникновения в обществе обособленных классов и находил подтверждение тем мыслям, которые возникали у него прежде под влиянием двух-трех популярных брошюр и отзвуков политической борьбы, доносившихся до него издалека. Как много знаний мог бы он почерпнуть из этих книг, как обогатил бы свои понятия и представления, будь у него больше времени! Но ему надо было работать, а между тем, проводя в башенке несколько бессонных ночей, Пьер заметил, что днем у него болит голова и немеют руки. И он решил отказаться в будние дни от этих духовных наслаждений, тем более что всякий раз опасался, как бы его рабочие башмаки не оставили на полу кабинета какой-нибудь след. Он был бы просто в отчаянии, если бы от прикосновения его рук на тонких страницах этих прекрасных книг осталось хоть какое-нибудь пятнышко. Что таилось за этими детскими опасениями? Он и сам бы не мог объяснить эту причуду, если бы его спросили об этом. Какие-то странные, смутные мысли неотступно бродили в его мозгу. Он ощущал в себе некое благородство чувств, благородство куда более истинное и высокое, нежели то, что даруется и освящается действующими в мире законами. Вынужденный постоянно подавлять порывы своей воистину аристократической души, жившей в его теле ремесленника, он безропотно подчи-

нялся необходимости, проявляя стойкость и самообладание, лишний раз свидетельствующие о благородстве его натуры. Но в те тайные часы, что он проводил в башенке на турецком диване, непринужденно облокотившись на бархатные подушки, глаза его могли созерцать простирающийся перед окнами прелестный пейзаж, вся поэтичность которого выступала для него тем явственнее, чем больше поэзия раскрывала перед ним мудрость Творца, чьим зримым проявлением является мироздание. И в эти минуты Пьер начинал чувствовать себя царем вселенной; но тут взгляд его падал на зеркало, он видел в нем свое озабоченное лицо, свои огрубевшие, обветренные руки – это неистребимое клеймо раба; и горькие слезы исторгались из глаз его. И, упав на колени, он воздевал руки к небу, моля ниспослать ему терпение, моля о справедливости к своим собратьям, навеки обреченным в этом мире на одиночество, невежество и нищету.

Глубокие волнения ума, испытанные Пьером при чтении сочинений исторических, сменились восторгами пленительного вымысла: в руки ему попали романы Вальтера Скотта. Вы скоро узнаете, какая опасность таилась в этих наслаждениях и какое влияние оказало на него чтение книг.

Глава V

Работы в мастерской были в полном разгаре, когда произошел несчастный случай, сразу же остановивший все дело. Один из лучших учеников папаши Гюгенена упал с лесенки и вывихнул себе руку. Беда никогда одна не ходит: на другой же день сам папаша Гюгенен умудрился загнать себе в палец большую занозу и тоже выбыл из строя. Дня два господин Лербур самым учтивым образом расточал ему свои соболезнования, однако когда выяснилось, что ученик уехал поправляться к родителям, а старому мастеру, как заявил лекарь, осмотревший его палец, две недели, не меньше, нельзя будет шевелить рукой, рачительный управляющий всполошился и заговорил о том, что подряд на лестницу следовало бы передать кому-нибудь другому. А этого пуще всего боялся папаша Гюгенен, ибо ему до смерти не хотелось (и больше из самолюбия, нежели из соображений выгоды) делиться с кем бы то ни было этим заказом. Он попробовал было работать, несмотря ни на что, но только разбередил больной палец и вынужден был отказаться от своего намерения – лекарь пригрозил, что, если он не уймется, ему в конце концов придется отнять палец, а то и всю руку.

– Да отрежьте уж мне сразу голову, и дело с концом! – в сердцах закричал папаша Гюгенен и, швырнув рубанок на пол, ушел домой, скрежеща зубами от злости и боли.

– Отец, – сказал ему Пьер поздно вечером, когда они остались вдвоем, – нам надобно что-то придумать. Вам нельзя будет работать несколько недель – нечего рисковать здоровьем, а может, и жизнью. Гийом был лучшим вашим работником, поправится он не раньше, чем через два месяца. И вот я остаюсь один с учениками, которые работают усердно, ничего не скажешь, но ведь у них нет ни опыта, ни знаний, необходимых для такой сложной работы. А между тем и сам я, не буду скрывать от вас, с тех пор как мне приходится работать за троих, чувствую, что начинаю выбиваться из сил; от усталости я уже и аппетит и сон потерял. Долго мне так не выдержать; что же будет, если я тоже заболею? Можете не сомневаться, я буду работать не щадя сил, и жалоб вы от меня не услышите. Но рано или поздно усталость возьмет свое, и уж тогда-то господин Лербур, если даже у него хватит терпения ждать до тех пор, наверняка передаст ваш подряд другому.

– Да что тут говорить! Прогневали мы, видно, судьбу, – с глубоким вздохом сказал папаша Гюгенен, – вот как привяжется нечистый к бедному человеку, пиши пропало...

– Нет, отец, судьба здесь ни при чем, а что до нечистого, то ведь он, говорят, зол, а кто зол, тот всегда еще вдобавок и трус. Послушайтесь-ка вы меня, и увидите – никакой нечистый вас не одолеет. Нам необходимо раздобыть двух хороших работников, и все сразу пойдет на лад.

– А где их взять? Может, думаешь, кто-нибудь в соседней деревне уступит нам своих? Держи карман шире! Разве чтобы избавиться от лодырей. Хорошие-то и самим нужны. Может, предложить кому войти в долю? Нет, лучше уж сразу отказаться от всего. К чему стараться, если почет будет с кем-то пополам?

– Вот и нужно сделать так, чтобы почет был только вам, – отвечал молодой столяр, хорошо знавший слабую струнку отца, – зачем вам вступать с кем-то в долю, возьмите-ка еще двух работников, притом из лучших. Я берусь их раздобыть. Предоставьте это мне.

– Откуда ты возьмешь их? – закричал в нетерпении папаша Гюгенен.

– Пойду в Блуа и найму, – ответил Пьер.

Тут старик так странно нахмурился и на лице его появилось выражение столь горькой укоризны, что Пьер в первую минуту растерялся.

– Так вот оно что! – произнес старик, мрачно помолчав. – Так вот чего ты добиваешься! Тебе понадобились всякие *странствующие подмастерья*, всякие дети Соломоновы^[16], колдуны, вольнодумцы и прочий сброд с большой дороги? В каком же это Союзе долга ты собираешься их раздобыть? Ведь ты даже не удостоил меня чести сообщить, к какому дьявольскому

обществу ты сам принадлежишь. Я еще понятия не имею, кому прихожусь отцом! Кто же мой сын – «волк», «лисица», «козел» или «пес»?¹

– Ваш сын – человек, – отвечал Пьер, вновь обретая спокойствие, – и можете не сомневаться, отец, никто никогда не посмеет обратиться к нему с подобной презрительной кличкой. Я знал, что вы разгневаетесь, если я предложу нанять подмастерьев в Блуа, но надеюсь все же, что, поразмыслив, вы преодолеете несправедливое свое предубеждение и согласитесь на единственную меру, которая может еще помочь нам сохранить работу в замке.

– Подумать только! – бушевал старый Гюгенен. – Теперь я вижу, что таилось за твоей притворной уступчивостью. Так ты, значит, собрался провести в мой дом *деворанов*^[17] – через окно, разумеется, потому что в дверь я их ни за что не пущу. Откуда я знаю, может, они зарежут меня в моей собственной постели, как режут друг друга на лесных опушках да во всяких кабаках!

Папаша Гюгенен даже позабыл о больной руке и что есть силы стучал ею по столу. Он так вопил, что крики его привлекли жившего с ним по соседству слесаря Лакрета.

– С кем это ты тут воюешь? – спросил он, входя в комнату. – Можно подумать, что ты дом собрался разнести. Ну, не совестно ли в твои годы поднимать такой крик! Уж не вы ли это, молодой человек, так распалили вашего батюшку? Куда это годится? Ведь вы, молодежь, должны быть вроде язычка в замке, а мы – старики, значит, пружина. Куда повернем, туда, стало быть, всем и поворачиваться.

Но когда Пьер объяснил старику Лакрету, в чем дело, тот начал смеяться.

– Ах, вот оно что, – обратился он к куму, – узнаю, узнаю тебя, соседушка. И чего ты, старый дурень, так злобишься на подмастерьев? Что плохого они тебе сделали, эти славные ребята? Может, поколотили за то, что не захотел отвечать на *перекличке*? Или наложили опалу на твою лавочку, потому что не умеешь *выть* по-ихнему? А ведь голос, кстати, у тебя громкий, да и кулак тяжелый, и за себя постоять ты можешь. Ей-же-ей, просто глупо с твоей стороны идти супротив всех. А вот я от души жалею, что не могу сбросить с себя годков этак тридцать, а то подался бы в какое-нибудь их общество. Говорят, на пирушках у них первый кусок получает кто посмелее, а кто трусоват, тому достаются одни объедки. А еще болтают, будто по ночам они вызывают самого дьявола; делают они это на кладбище, а то на перекрестке четырех дорог. И дьявол приходит, да еще с целым выводком дьяволят – вот небось потеха-то! Нет, подумать только, уже шестьдесят лет, как я слышу: «дьявол» да «дьявол», а видеть мне его так и не привелось. Скажи-ка ты мне, Пьер, по чистой совести, ты-то ведь небось встречал его, раз посвящен в подмастерья. Каков он собой?

– Неужто вы в самом деле верите во всю эту чепуху, сосед? – смеясь, спросил Пьер.

– Не так чтоб очень, – отвечал тот с добродушным лукавством, – но немножко все же верю. Помню, как в юности – мы с отцом работали в ту пору в кузнице, что на горе Вальмон, – только, бывало, стемнеет, как поднимается крик и вой. Люди называли это ночной охотой, или шабашом. Я, бывало, зарююсь с головой в солому, сам весь дрожу, а отец мне шепчет: «Спи, мальчуган, это волки в лесу воют». Ну а были такие, что говорили: «То подмастерья-плотники принимают в свой союз нового собрата – ему надобно подписать договор с самим дьяволом; тот, кто в час полночи не будет еще спать, может увидеть, как проносится по небу огромный, весь огненный, плотничий угольник – это и будет сам сатана». Я верил, и хоть обмирал от страха, мне смерть хотелось взглянуть хоть одним глазком на сатану. Но почему-то усталость оказывалась сильнее любопытства, и я всякий раз засыпал до урочного часа. А только знаете, что я вам скажу? С тех пор как мне сказали, что и у слесарей тоже есть свой Союз долга, я начинаю думать, что нечистый тут ни при чем и, может, в этом есть какой-то смысл.

¹ Прозвища, которые дают друг другу подмастерья различных профессий. (Примеч. автора.)

– Какой в этом может быть смысл? – закричал папаша Гюгенен, окончательно рассердившись. – Нет, он меня просто из себя выведет! Уж не собираешься ли ты на старости лет изучать всякие их франкмасонские штучки^[18]?

– Да, представь себе, на старости лет я хотел бы понять, что к чему, – отвечал старик Лакрет, который, как подобает всякому слесарю, был упрям и задирист. – А если хочешь знать, какой в этом смысл и какая польза, то я, пожалуй, скажу: польза в том, что люди договариваются между собой, получше узнают и поддерживают друг дружку да помогают, кому плохо приходится. Не так уж это глупо, и дурного здесь тоже нет.

– Ну а теперь ты меня послушай, и я скажу тебе, зачем им все это надо! – закричал папаша Гюгенен, вне себя от возмущения. – Чтобы договориться между собой против тебя же, чтобы узнать друг от друга, как тебя же получше облапошить да отбить у тебя работу, – словом, чтобы помогать друг дружке разорять тебя.

– Ну, значит, хитрые они ребята, – сказал сосед, – потому что я ничего этого не замечаю, а между тем и года не проходит, чтобы я не принял кого-нибудь из них – двоих, а то и троих. Как получу какой-нибудь солидный заказ в замке, так сразу отправляюсь в город и нахожу себе там какого-нибудь славного паренька с хорошей головой и ловкими руками, а главное, повеселее, потому что я страсть как люблю веселых. Эти молодцы знают чудесные песни, от которых сердце радуется и молотки быстрее начинают стучать. Храбрые они – что твои львы, работают получше нас с тобой. А сколько у них всегда в запасе всяких занятных историй! Всюду-то они побывали и расскажут тебе о любой стране. С ними и я становлюсь вроде бы моложе, рядом с ними и мне жизнь кажется милей. Эх, папаша Гюгенен, видно, потому ты и посидел раньше меня, что кичишься так званием мастера да сторонись молодежи.

– У молодежи своя дорога, и старым людям с ней не по пути. А кто хочет быть с нею запанибрата, над тем она смеется и в грош того не ставит. Вот ты все водишься с этими своими подмастерьями, а что толку? Вместо того чтобы воспитать себе хороших учеников, которые работали бы на тебя да еще тебе платили, ты берешь себе здоровых парней, платишь им деньги, кормишь и поишь, а они тебя разоряют, да еще готовы ославить неучем.

– Если они считают меня неучем – что ж, значит, я таков и есть, и поделом мне, а что разоряют – так на то ведь моя добрая воля. Мне это нравится, понимаешь? Что заработаю за день, то и проем. Детей у меня нет. Ребят этих я люблю, они мне вроде приемных сыновей. Кто запретит мне повеселиться да посмеяться вместе с ними? А с ними не соскучишься, позабудешь и свое одиночество и всякие старицкие заботы.

– Жаль мне тебя, – проговорил папаша Гюгенен, пожимая плечами.

Когда старики после спора немного поостыли, они вдруг заметили, что Пьер, вместо того чтобы воспользоваться поддержкой соседа в споре с отцом, преспокойно улегся спать. Не известно, что повлияло на папашу Гюгенена – невозмутимое ли поведение сына, смелые ли возражения соседа, заставившие его разом излить весь свой гнев, или настоящая необходимость прийти наконец к какому-то решению, но только старый мастер призадумался и на следующее же утро заявил сыну:

– Ладно, ступай в город и приведи мне работников. Бери каких хочешь, только смотри, чтобы это не были подмастерья из союза.

Пьер великолепно понял смысл этого противоречивого приказа. Он знал, что, уступая по существу, отец никогда не сознается в этом прямо. Он взял свой посох и отправился в Блуа, намереваясь нанять первых же хороших подмастерьев, которые ему встретятся, и выдать их за простых учеников, если только отец не изменит за это время своего отношения к тайным союзам подмастерьев.

Глава VI

В то время как Пьер Гюгенен шагал через покрытые цветами луга по обыкновению всех странствующих подмастерьев, всегда предпочитающих наиболее короткий путь и пересекающих таким манером вдоль и поперек всю Францию, по проезжей дороге из Блуа в Валансе катила, оставляя за собой клубы пыли, большая, четырехместная карета. И кто бы вы думали ехал в этой карете? Само семейство графов де Вильпрё быстро приближалось в ней к своим владениям.

Нужно ли говорить, что наш ревностный управляющий, который уже добрую неделю не смыкал глаз от волнения, готовясь к приезду господ, встал в этот день чуть свет и, оседлав свою серую кобылу, отправился им навстречу. Он весьма досадовал на их внезапный приезд, который ожидался только поздней осенью и лишь совсем недавно перенесен был на начало лета. Он был просто вне себя: как это старый граф вздумал сыграть с ним такую злую шутку, как он выражался; ведь ничего не было еще готово к возвращению господ. У господина Лербура просто не было времени привести все в надлежащий вид: на это, уверял он, требуется самое меньшее полгода, а в его распоряжении не было и трех месяцев. Вот почему он пребывал в изрядном унынии, трясая рысцей навстречу сиятельному семейству. Поводья выпали из его рук и свободно болтались на шее у лошадки, которая бежала, так же уныло опустив голову, как и ее хозяин.

«Увы, – думал господин Лербур, – работа в часовне только-только началась, большую часть ее придется делать уже при господах, в доме пыль столбом стоит, у старого графа от этого сделается кашель, по утрам он будет не в духе... И еще сможет ли барышня заниматься в своем кабинете, когда рядом такой стук стоит? И хоть бы готова была эта проклятая дверь! Так нет, даже это не сделано. И навесить ее некому! Подумать только, дядюшка Лакрет с утра пьян, а сынок Гюгенена отправляется невесть куда. И это в такой-то день. Ох, уж мне эти мастеровые, до чего беспечный народ! Разве имеют они понятие, что значит ни днем ни ночью не знать покоя, разве понимают они все волнения и горести, которые переживает такой управляющий, как я?»

Он был весь во власти этих раздирающих его сердце чувств, когда неподалеку раздался конский топот, явно принадлежавший более сильной и резвой лошади, нежели та, на которой восседал он. Серая кобылка между тем наострила уши и радостно заржала, почуя приближение некоего черного жеребца, принадлежавшего сыну ее хозяина. Нахмуренное чело управляющего немного разгладилось при виде обожаемого Изидора, младшего чиновника управления шоссежных дорог.

– А я боялся, что ты не получил моего письма, – сказал отец.

– Получил еще нынче утром, – отвечал сын, – ваш посланец нашел меня на новой дороге, что в двух лье отсюда, я был занят разговором с инженером – удивительный болван, просто шагу без меня ступить не может. Едва отпросился у него на два дня; ни за что не хотел меня отпускать, да и в самом деле, не знаю уж, как он там справится без моих советов. Но все же отпустил. Должен же я встретить графское семейство как полагается. А главное, чертовски хочется поскорее увидеть Жозефину и Изольду. Должно быть, их не узнать! Жозефина, надо думать, такая же хорошенькая. Ну а Изольда небось рада будет вновь увидеть меня!

– Сын мой, – сказал управляющий, подстегивая свою лошадку, – я вынужден заметить тебе следующее: во-первых, говоря об этих дамах, не подобает произносить имя барышниной кузины первым. Во-вторых, говоря о внучке его сиятельства, неприлично называть ее просто «Изольда». В крайнем случае ты можешь называть ее «мадемуазель Изольда». Да и то все же лучше сказать «ее сиятельство».

– Вот еще! – возразил младший чиновник управления шоссейных дорог. – Ведь я ее так называл, и никому в голову не приходило запрещать мне это. Еще четыре года назад мы играли с ней в жмурки и в прятки. Пусть только попробует корчить со мной графиню. Увидите, она по-прежнему будет называть меня «Изидор», а значит...

– А значит, сын мой, надо знать свое место и помнить, что мадемуазель де Вильпрё уже не девочка и за эти четыре года успела, вероятно, совершенно тебя забыть. А главное, тебе никогда не следует забывать, кто она и кто ты...

Господин Изидор, которому наскучили поучения отца, пожал плечами и стал громко что-то насвистывать. Затем, чтобы совсем избавиться от них, он прищипорил жеребца и пустил его в галоп, обдав своего родителя пылью с ног до головы и вскоре оставив его далеко позади.

Мы передали эту беседу между отцом и сыном для того только, чтобы проницательный читатель мог ясно представить себе самомнение и наглость господина Изидора, бывшие основными чертами его характера. Невежественный, завистливый, ограниченный, шумный, несдержанный, он, в придачу к этим приятным качествам, обладал еще нестерпимым тщеславием и был отчаянный хвастун. Отца порой коробили бестактные выходки сына, однако удержать его от них он не умел. Впрочем, будучи и сам в высшей степени тщеславным, он, несмотря на это, считал своего Изидора исполненным всяческих достоинств и верил, что тот пробьет себе дорогу уже по одной той причине, что это его сын. Его легкомыслие он приписывал пылкости излишне сангвинического темперамента и втайне налюбоваться не мог на здоровые мускулы и широкие плечи этого Геркулеса с курчавыми, как у барана, волосами, кирпично-красным румянцем во всю щеку, оглушающим голосом и наглым, каким-то животным смехом.

Изидор подъехал к последней перед замком почтовой станции минут на двадцать раньше отца. Здесь семейство графа должно было в последний раз сменить лошадей. Прежде всего Изидор потребовал себе комнату и распаковал свои чемоданы, чтобы переодеться. Он напялил на себя какую-то невероятную охотничью куртку и выглядел в ней совершенно уморительно, хотя куртка была точь-в-точь такая, как у одного молодого франта из аристократов, с которыми как-то ему довелось травить лисицу в Валансенских лесах. Но на его широкоплечей и изрядно уже располневшей фигуре эта кургузая, обтягивающая курточка выглядела невероятно смешно. Розовая перкалевая рубашка, позолоченная цепочка для часов, увешанная брелоками, вызывающе пышный узел шейного платка, белые лайковые перчатки, готовые лопнуть по швам на красных толстых ручищах, – все было в нем безвкусным, неприятным, наглым.

Впрочем, сам он был как нельзя более доволен своей особой и сразу же показал себя во всей красе – начал приставать к трактирной служанке, потом отстегал на конюшне свою лошадь, ругаясь так, что по всей деревне стекла дрожали, и после всех этих трудов одну за другой опустошил несколько бутылок пива, перемежая их стаканами рома и хвастливо разглагольствуя перед местными завсегдатаями трактира, которые слушали его кто с восторгом, а кто с презрением.

Солнце уже заходило, когда вдали, на холме, послышалось наконец хлопанье кучерских бичей. Господин Лербур бросился со всех ног в конюшню и велел скорей готовить лошадей, которым надлежало еще до наступления ночи домчать именитое семейство в родовой замок. Заодно он приказал взнуздать и свою кобылку, чтобы, не теряя ни минуты, сопровождать своих господ к месту назначения, после чего весь в поту, с бьющимся от волнения сердцем, устремился обратно и успел выбежать на крыльцо как раз в ту самую минуту, когда карета остановилась.

– Эй, поскорее лошадей! – далеко еще не старческим голосом крикнул старый граф, высываясь из дверцы кареты. – А, вы уже здесь, господин Лербур? Честь имею. Весьма тронут... Благодарю, не слишком... А ваше?... В добром здравии?... Рад слышать это... Моя внучка? Вот она... Так будьте любезны, поторопите с лошадьми.

Так небрежно-любезным тоном отвечал граф своему управляющему, не давая себе даже труда выслушать до конца его вопросы. Подали лошадей, путешественники уже готовы были продолжать свой путь, и никто из сидевших в карете так и не обратил бы внимания на господина Изидора, который все это время топтался рядом с отцом, с наглым видом заглядывая внутрь кареты, если бы в последнюю минуту, как это обычно водится, не запропастился куда-то кучер. И тогда из окна кареты высунулось задумчивое, бледное девичье лицо, обрамленное черными волосами; с холодным недоумением посмотрела девушка на развязно кивающего ей младшего чиновника управления шоссейных дорог.

– А это еще кто такой? – спросил граф, меряя Изидора взглядом.

– Это мой сын, – смиренно, но с затаенной гордостью отвечал управляющий.

– Ах, вот оно что! Так это Изидор? Я и не узнал тебя, милейший. Ты вырос, да и растолстел порядком. За это не похвалю. В твои годы следует быть постройнее. Ну что, научился ты наконец читать?

– О да, ваше сиятельство, – отвечал Изидор, приписывая насмешливый тон графа той добродушно-иронической его манере, которую помнил еще с детства. – Я теперь чиновник, и курс науки закончил уже давно.

– В таком случае, – сказал граф, – ты успел больше, чем Рауль; тот своих наук еще не одолел. – И граф указал на своего внука, юношу лет двадцати, довольно хилого, с невыразительным лицом, который, чтобы лучше обозреть местность, взобрался на козлы рядом с лакеем. Изидор взглянул на бывшего товарища по детским играм, и оба одновременно в знак приветствия приподняли свои картузы, причем Изидор тут же с досадой заметил, что у юного виконта он из чистого бархата, в то время как его картуз из простого тика, и мысленно положил себе не далее, как завтра, заказать точно такой, да еще с золоченой кисточкой.

– Ну, так где же кучер? – с нетерпением спросил граф.

– Позовите кучера! – крикнул лакей.

– Что за безобразие! Какой-то кучер заставляет себя ждать! – завопил что было силы господин Лербур, который просто из кожи вон лез, стараясь выказать свое усердие.

Тем временем Изидор обошел карету с другой стороны, чтобы поздороваться с племянницей графа де Вильпрё, прелестной маркизой Жозефиной Дефрене. Та встретила его более приветливо, и это прибавило ему самоуверенности.

– Мадемуазель Изольда, вы что ж это, не помните меня? – обратился он к внучке графа, после того как они обменялись с Жозефиной несколькими словами.

Бледнолицая Изольда подняла глаза, пристально взглянула на него, слегка кивнула и вновь углубилась в почтовый справочник, который, казалось, внимательно изучала.

– И не помните, как мы с вами играли в саду в горелки? – продолжал Изидор с самонадеянностью, столь свойственной глупцам.

– А теперь играть не будете, – ледяным тоном оборвал его граф, – моя внучка уже не играет в горелки. Да едем же наконец! Эй, кучер, гони во весь опор, получишь вдвое!

– Подумать только, умный человек, а такое сморозил, – прошептал изумленный Изидор, глядя вслед удаляющейся карете. – Что, я не понимаю, что его внучка уже не играет в горелки? Не воображает ли он, что я до сих пор еще бегаю наперегонки?

Между тем господин Лербур-отец, в мгновение ока оседлав свою серую кобылку, помчался во весь дух вслед за каретой. Каким бы нерешительным и растерянным ни чувствовал он себя в канун того или иного великого события, едва только это событие наступало, он неизменно оказывался на высоте положения. Вот и теперь он с решительным видом пустился галопом, чего давненько уже не случалось ни с ним, ни с его лошадкой.

– Неплохо бежит кобылка вашего папаши, – заметил конюх с глуповато-хитрым лицом, подводя Изидору его черного жеребца.

– А мой Босерон бегаёт лучше! – сказал Изидор пренебрежительно, бросая ему мелкую монетку с тем высокомерным видом, который изобличает низкую натуру.

Однако Босерон, у которого имелись весьма веские основания быть в дурном расположении духа, попятился и стал бить ногами и задом. Это не предвещало ничего хорошего. Изидор применил силу, и ему удалось вскочить в седло. Однако, почувствовав, как впиваются ему в бока острые шпоры, Босерон сразу пустился в галоп и стрелой понёсся вперед, заложив назад уши и затаив в сердце жажду мщения.

– Осторожно, осторожно! Упадете! – закричал вслед Изидору конюх, подбрасывая на ладони полученную от него монетку.

А тот, увлекаемый Босероном, между тем стремглав пронёсся мимо почтовой кареты. Почтовые лошади, испугавшись, рванули в сторону, что вывело графа из задумчивости и заставило Изольду вновь поднять глаза от книги.

– Этот дурень сломит себе шею, – хладнокровно заметил граф.

– Он опрокинет нашу карету, – произнесла Изольда таким же равнодушным тоном.

– Право, он ничуть не поумнел, этот молодой человек, – сказала маркиза с добродушно-соболезнующим видом, который заставил ее спутницу улыбнуться.

Изидор, домчавшись до подножия довольно крутого склона, сдержал своего жеребца и все же заставил его идти шагом. Он решил дожидаться здесь кареты, очень довольный тем, что имеет возможность показаться дамам на этом лихом скакуне, в этой неистовой скачке; проносясь мимо, он нарочно держался той стороны кареты, где была Изольда.

«Эта ломака давеча очень глупо вела себя со мною, – говорил он себе, – она воображает, будто я все еще мальчик. Нужно показать ей, что я мужчина. Небось заметила теперь, каков я собой, когда я несся мимо нее во весь опор».

Карета, в свою очередь, достигла подножия холма, лошади пошли шагом и стали медленно подниматься в гору. Граф высунулся из дверцы кареты и о чем-то спросил едущего рядом управляющего. Можно ли было придумать более подходящий момент, чтобы показаться дамам во всей своей красе? А они как раз смотрели на Изидора. Босерон, который все еще не мог успокоиться, невольно способствовал намерениям хозяина – он со свирепым видом вращал глазами и вставал на дыбы, прижимая голову к груди. Но одно непредвиденное обстоятельство роковым образом помешало всаднику потешить свою гордость и совершенно его опозорило. Дело в том, что давеча, в конюшне, когда Изидор отстегал Босерона, тот, не зная, на ком сорвать злость, вздумал укусить стоявшую рядом с ним Серую – несчастную, старую, весьма миролюбивую кобылу, которая сейчас шла третьей в упряжке. И вот теперь, когда Босерон принялся гарцевать рядом с каретой, Серая, припомнив ему это, лягнула его. Босерон не собирался оставаться в долгу. Изидор думал было положить конец этой ссоре, обрушив на свою лошадь град ударов. Босерон пришел в бешенство и взвился на дыбы так, что всаднику пришлось уцепиться за гриву. Кучер, выведенный наконец из терпения поведением Серой, хотел вытянуть ее бичом, но нечаянно попал и по Босерону; тот окончательно разъярился. Он резко отпрыгнул в сторону и принялся скакать, бить задом и брыкаться до тех пор, пока доблестный Изидор, выбитый из седла, не шлепнулся наземь, подняв клубы пыли.

– Так и знал, что этим кончится, – проговорил граф по-прежнему невозмутимым тоном.

Господин Лербур бросился поднимать своего сына, добрая Жозефина побледнела от испуга. Карета продолжала катить дальше.

– Он жив, надеюсь? – спросил граф своего внука, который, сидя на козлах, имел возможность смотреть назад и видеть плачевную фигуру, какую являл собой Изидор.

– Ничего ему не сделалось, – весело смеясь, ответил юноша.

Лакей и кучер тоже смеялись, особенно когда Босерон, освободившись наконец от ненавистного седока, проскакал мимо них, подпрыгивая, словно выпущенный на свободу козленок, и помчался вперед по дороге.

– Остановите карету! – приказал граф. – Этот дуралей, возможно, сломал себе шею.

– Не беспокойтесь, ради бога, не беспокойтесь, все это пустяки! – завопил господин Лер-бур, увидев, что карета останавливается. – Вашему сиятельству никак нельзя задерживаться.

– Что поделаешь, приходится! – сказал граф. – Ваш молодец небось весь в синяках, а лошадь его уже вон куда ускакала; она будет дома раньше хозяина. Не пешком же ему идти. Мы сделаем вот что – мой сын сядет в карету, а ваш – вместо него на козлы.

Изидор, с ног до головы перепачканный, красный от смущения, но все же пытающийся сохранить свой развязный вид, принужденно смеясь, начал было отказываться. Однако граф настаивал со свойственным ему ворчливым добродушием.

– Забирайся-ка, забирайся наверх, – сказал он тоном, не допускающим возражений. – И так уж мы достаточно потеряли времени.

Пришлось подчиниться. Рауль де Вильпрё пересел в карету, а Изидор влез на козлы, откуда мог любоваться своим жеребцом, скачущим где-то далеко впереди. Рассеянно слушая язвительные соболезнования, которые расточал ему сидевший рядом с ним лакей, он то и дело нагибался, стараясь увидеть, что делается в карете. Он успел заметить, что мадемуазель де Вильпрё почему-то уткнулась лицом в платок. Неужели она до того испугалась его падения, что с ней сделался нервный припадок? Судя по тому, как конвульсивно вздрагивала всем телом эта девица, державшаяся до сих пор с такой невозмутимостью, даже чопорностью, можно было и в самом деле это вообразить. А объяснялось это просто: при виде горемычного всадника на Изольду вдруг напал безудержный смех, и, как это порой случается с серьезными людьми, она уже не в силах была справиться с собой. Юный Рауль, который при всей своей лености и недалеком уме обладал той особой хладнокровной язвительностью, которая свойственна была всей семье де Вильпрё, еще усугублял смешливое состояние сестры, произнося время от времени какую-нибудь шутку по поводу того, как утомительно летел Изидор с лошади. Присущая Раулю манера растягивать слова и монотонный голос придавали этим замечаниям особенно комический характер. Даже чувствительная маркиза позабыла о своем недавнем испуге и смеялась вместе с кузиной. Не отставал от развеселившейся молодежи и старый граф, с дьявольским спокойствием вставлявший между остротами внука и свои едкие замечания. Изидор не слышал, что они говорят, но когда Изольда, не выдержав, с хохотом откинулась назад, он увидел, что она смеется. И Изидор, почувствовав себя глубоко оскорбленным, тут же мысленно поклялся отомстить ей. С этой минуты неукротимая ненависть к Изольде вспыхнула в его низкой, мстительной душонке.

Глава VII

Между тем Пьер Гюгенен шагал по направлению к Блуа, стараясь идти как можно более коротким путем – то вдоль лесочка, зеленеющего на склоне холма, то узкой тропой меж высокими хлебами. Иногда он делал привал у какого-нибудь ручья, чтоб освежить холодной водой свои усталые ноги, или, расположившись на лугу под тенистым дубом, одиноко свершал скромную свою трапезу. Ходокон он был превосходным, ни жара, ни усталость не страшили его, и, однако, всякий раз ему трудно бывало заставить себя прервать эти сладостные часы отдохновения среди поэтического безмолвия полей и лесов. Какой-то новый мир открылся ему с тех пор, как он стал читать книги там, в башенке. Мелодичное пение птиц, прелесть зеленой листвы, богатство красок и совершенство линий расстилающегося перед ним пейзажа – все представляло ему более внятным и отчетливым. Он ясно осмыслил теперь то, что прежде лишь смутно ощущал. И этот новый, ниспосланный ему дар понимания был для него источником неведомых дотоле наслаждений – и страданий.

«Что мне в том, – часто думал он, – что изменились мои мысли и чувства, если место мое в жизни остается прежним? Эта сияющая природа, эта прекрасная земля, где мне не принадлежит ни пяди, улыбается мне, как улыбается любому вельможе, владеющему ею. Нет, участь тех, кто жаждет захватить как можно больше владений на этом изуродованном лице земли, меня вовсе не манит. Мне ничего не нужно, кроме права безмятежно созерцать ее красоту, вволю дышать ее ароматами, наслаждаться гармонией, которую она источает. Но даже этого я лишен. Неустанно, от зари до поздней ночи, должен я трудиться, поливая потом своим эту землю, которая будет цвести и зеленеть, но не для меня, которой будут любоваться не я, а другие. И если я хотя бы час в день позволю свободно дышать моему сердцу и разуму, к старости я останусь без куска хлеба. Мысль о будущем лишает меня радостей настоящего. Если я уступлю своему желанию и еще немного посижу здесь, под зеленой этой сенью, я нарушу этим договор, которым связан и который обязывает меня безостановочно тратить свои силы, принося в жертву свою духовную жизнь. Ничего не поделаешь, надо отправляться дальше. Тратить время на эти мысли – и то уже преступление».

И Пьер усилием воли заставлял себя отрешиться от сладостного ощущения свободы. Ибо для ремесленника свобода означает отдых от труда. Именно к этой свободе он стремится; и наибольшую потребность в ней нередко испытывают натуры самые трудолюбивые. Такому труженнику, в силу его избранной натуры, не раз, должно быть, случается проклинать непрерывный свой труд, не оставляющий ему даже времени подумать над творениями рук своих и совершенствовать их.

До Блуа молодой столяр рассчитывал дойти дня в два. Он переночевал в Селле, в извозчичьей корчме, и на рассвете следующего дня вновь пустился в путь. Солнечные лучи только еще начинали пробиваться сквозь утренний туман, когда он заметил на дороге идущего ему навстречу человека. Человек был высокого роста, одет, как и Пьер, в блузу рабочего и тоже с дорожным мешком за спиной. Однако по его высокому посоху Пьер догадался, что незнакомый ремесленник не принадлежит к его обществу, где принят был посох более короткий и легкий. Окончательно утвердился он в этой догадке, когда незнакомец, не дойдя до него шагов двенадцать, вдруг остановился в той особой, угрожающей позе, которая всегда предшествует перекличке странствующих подмастерьев.

– Откликнись, брат! Какого ремесла? – провозгласил он зычным голосом.

Пьер принадлежал к обществу, членам которого перекличка запрещалась; поэтому он ни слова не ответил на оклик и продолжал идти прямо на незнакомца, ибо – Пьер сразу же это понял – встреча эта вряд ли могла кончиться добром. Уж таковы жестокие законы компаньонажа. Увидев, что Пьер ему не отвечает, незнакомец, в свою очередь, понял,

что имеет дело с врагом. Тем не менее, до конца соблюдая предписанную уставом его общества форму, он продолжал переключку по всем правилам.

– Подмастерье? – снова заорал он, размахивая посохом. И хотя Пьер по-прежнему не отвечал ни слова, продолжал: – Какого общества? Какого союза?

Пьер продолжал молчать. Тогда незнакомец решительно двинулся ему навстречу, и через несколько секунд они стояли уже лицом к лицу.

При виде его богатырского сложения и воинственной позы Пьер подумал, что, не надели природа его самого столь же мощным телом и крепкими мускулами, ему, пожалуй, было бы несдобровать.

– Так вы что же, не ремесленник, что ли? – презрительно бросил ему в лицо незнакомец.

– Как это не ремесленник! – отвечал Пьер.

– Выходит, не подмастерье? Почему же у вас посох? – все более вызывающим тоном продолжал спрашивать незнакомец.

– Я подмастерье, – очень спокойно ответил Пьер, – и попросил бы не забывать об этом, раз теперь это вам известно.

– Что вы этим хотите сказать? Чего добиваетесь? Оскорбить меня?

– Отнюдь. Но если бы вам вздумалось оскорбить меня, я в долгу не останусь.

– Коли вы не трус, почему не отозвались на оклик, как положено?

– Стало быть, есть причина.

– Вы что, правил не знаете? Странствующие подмастерья при встрече обязаны объявлять друг другу свое ремесло и назвать союз. Ну, так как, ответите вы мне или заставить говорить вас силой?

– Заставить вы меня не заставите. Попробуйте только тронуть, я и вовсе ничего не скажу.

– Посмотрим, – сквозь зубы процедил незнакомец и уже начал было поднимать свою палку, как вдруг лицо его омрачилось, словно от какого-то тяжелого воспоминания, и он опустил ее. – Послушайте, – сказал он, – к чему вам таиться? Я и без того уже понимаю, что вы принадлежите к *гаво*^[19].

– Если вы называете меня этим именем, – ответил Пьер, – то ведь я тоже вправе был бы сказать, что узнал в вас *деворана*, но я не вижу ничего оскорбительного для себя в слове *гаво*, так же как не имею намерения оскорбить вас, произнося ваше прозвище.

– Нечего мне зубы заговаривать, – сказал незнакомец, – уже по одной вашей осторожности видно, что вы истинный сын общества Соломона. Ну а я – я принадлежу к священному Союзу долга, чем и горжусь. Выходит, я выше вас и старшинство за мной. Значит, вам следует быть со мной почтительным. Произнесите-ка скорее обет подчинения, и мы с вами поладим.

– И не подумаю произносить никаких обетов, – отвечал Пьер, – будь вы хоть сам мастер Жак^[20] собственной персоной.

– Так вы еще и глумитесь? – гневно закричал незнакомец. – Как видно, вы вообще ни к какому обществу не причислены. Либо вы не принадлежите к союзу, либо один из *непокорных*, *независимых*, или какой-нибудь *лис свободный*, а есть на свете кто презреннее их?

– Да нет, я не то, и не другое, и не третье, – улыбаясь, отвечал ему Пьер.

– А, так, значит, гаво! – закричал незнакомец, топнув ногой. – Послушайте, не знаю уж как вас величать – брат, земляк или же сударь, вам драться неохота, мне тоже. И сдается мне, что отказываетесь вы драться не из трусости. Я знаю, среди вас, гаво, встречаются люди довольно смелые, да и не всякий, кто ведет себя осторожно, непременно трус. Уж меня-то в трусости вы не заподозрите, когда узнаете мое имя, потому что я вам его назову. Быть может, вам приходилось слышать его во время хождения по Франции. Я Жан Дикарь из Каркассона, по прозвищу Гроза Всех Гаво.

– Приходилось, – ответил Пьер Гюгенен, – вы каменотес из *прохожих подмастерьев*. Слышал, что человек вы смелый и работающий, но есть у вас и слабости – задиристый характер и приверженность к вину.

– А коли слабости мои вам известны, – сказал Жан Дикарь, – то, должно быть, известна и та несчастная история в Монпелье с парнишкой, что вздумал высказывать мне откровенно все, что обо мне думает.

– Да, известна. Вы так его избили, что он на всю жизнь остался калекой; если бы не ваши и его товарищи, которые из великодушия сохранили это дело в тайне, пришлось бы вам держать ответ перед властями; хоть это заставило бы вас раскаиваться, раз совести у вас нет.

Прохожий подмастерье, оскорбленный прямоотой, с которой говорил с ним Пьер, побледнел от ярости и вновь поднял свою палку, Пьер взялся за свою, приготовясь защищаться. Однако каменотес и на этот раз опустил свой посох, и лицо его вдруг стало добрым и печальным.

– Так знайте же, я дорого заплатил за ту минуту безумия. Да, это верно, человек я вспыльчивый, горячий, но, поверьте, не такая уж я грубая скотина, не такой зверь, каким, вероятно, изображали меня ваши гаво. Я горько раскаивался в том, что случилось, и делаю все, чтобы искупить свою вину. Но парню, которого я изувечил, от этого не легче – он не сможет работать до конца своих дней, а я не так богат, чтобы прокормить его отца, мать и сестер, которым он был единственной опорой. И вот целая семья несчастна по моей вине. Я работаю не покладая рук, но деньги, которые мне удастся им послать, не могут дать им безбедного существования, которое было бы у них, не случись того несчастья. Ведь у меня тоже есть родители, и я обязан отдавать им половину своего заработка. А когда содержишь две семьи, на себя ничего почти не остается. Меня вот ославили пьяницей и кутилой, а никто не знает, как я стараюсь искупить свой грех и сколько раз удавалось мне с тех пор победить свои дурные наклонности. Теперь вы знаете мою историю и уж не так удивитесь тому, что я скажу: я дал зарок сдерживать свой нрав, ни с кем никогда не искать ссор, чтоб не случилось еще какой беды. И, однако, честь моего союза, слава сыновей мастера Жака для меня превыше всего, и не могу я прослыть трусом. Вы давеча предерзко говорили со мной, вас следовало бы проучить за это, да вот не хочется; но пропустить ваши слова мимо ушей мне все же не к лицу. Послушайте, ладно, не называйте себя, раз есть у вас на то причины, но подтвердите хотя бы, что есть один только Союз долга и нет союза древнее, чем он.

– Но если я скажу, что он один, из этого само собой вытекает, что нет союза древнее его. А если скажу, что он самый древний, то тем самым признаю, что есть и другие, – с улыбкой отвечал Пьер.

Этот шуточный ответ почему-то очень задел деворана, и гнев его вспыхнул с новой силой.

– Так, так, – произнес он, от досады кусая губы. – Нечего прикидываться, будто вы не понимаете, чего я от вас требую. Я хочу этим сказать, – вы это прекрасно знаете, – что существуют самозванные Союзы долга, нагло присвоившие себе то же название. Но берегитесь, мы этого так не оставим. Пусть всякие чужаки перестанут называть себя подмастерьями Союза долга, а не то как бы не пришлось им раскаяться в этом.

– Они называют себя вовсе не так, – отвечал Пьер. – Они называют себя подмастерьями Союза долга и свободы, и как раз для того, чтобы их не путали с вами, подмастерьями Союза долга, которые, как всем известно, не очень-то ратуют за свободу.

– А вы-то все больно ратуете за свободу – свободу красть чужие имена да титулы! Ну нет, этому никогда не бывать. Мы будем драться с вами не на живот, а на смерть, пока не принудим вас называть себя просто *свободными подмастерьями*.

– Честно говоря, – сказал Пьер, – будь моя воля, я не стал бы и спорить о подобных пустяках. По мне, слово «свобода» настолько прекрасно само по себе, что одного его уже достаточно, чтобы освятить то знамя, на котором оно начертано. Но не думаю, чтобы можно было прийти

к какому-нибудь соглашению, пока вы станете требовать признания своего первенства с помощью угроз и оскорблений. Меня, во всяком случае, никто – ни один подмастерье ни из какого Союза долга – никогда не заставит признать, что его союз выше и древнее какого-либо другого.

– Так, выходит, вы-то ни в каком союзе не состоите? Вот уже битый час, как вы издеваетесь надо мной, и я не могу добиться, какого же вы лагеря? Не иначе, как вы из *независимых*, а может, бунтовщик? А может, вас попросту выгнали из какого-нибудь общества за дурное поведение? Мне ведь не трудно будет все о вас разузнать, и, если это так, берегитесь – я выведу вас на чистую воду, где бы ни встретил.

– Вот вы говорите со мной так враждебно, а я слушаю вас совершенно спокойно; речи ваши дышат ненавистью, а во мне ее нет; вы угрожаете мне, а я в ответ только улыбаюсь. И всякий, кто, не зная нас, стал бы свидетелем этой встречи, не усомнился бы в том, кто из нас двоих более рассудителен и великодушен. Мне непонятно, почему славу своего союза вы стремитесь утверждать с помощью насилия и проклятий, вместо того чтобы руководствоваться человеколюбием и мудрыми примерами.

– Поговорить вы мастер, это я вижу. Ну ладно, будь по-вашему. Людей образованных я уважаю. Я когда-то и сам пытался побороть свое невежество и даже выучил на память лучшие песни наших стихотворцев, и некоторых ваших тоже, потому что хоть самый дух их я не приемлю, но не могу не отдать им должное. У вас есть Бесстрашный из Бордо, Вандомец Сердцеед, и еще некоторые, ну а наши – это Марселец Согласный, Бордосец Осторожный, Бургундец Верный, Нантец Выручатель и прочие, тоже не без таланта. Жаль только, что нельзя быть одновременно и сочинителем и дельным работником. В этом я убедился. Чтобы слагать стихи, надобно знать много такого, что требует учения, а учение требует времени. А вот вы так красноречиво говорите, что меня берет сомнение – может, вы сбежали от долгов или нарушили установление союза, словом, решили следы замести?

– Ваши сомнения не очень меня тревожат, – отвечал ему Пьер, – нам, должно быть, доведется еще встретиться где-нибудь, и тогда мы поговорим с вами более миролюбиво, к чему пока, судя по всему, вы не расположены. А теперь позвольте мне распрощаться с вами – я спешу, и у меня больше нет времени разговаривать.

– Вы человек очень осторожный, – сказал упрямый каменотес, – но я тоже осторожен и не дам вам так просто уйти – не хочу свое доброе имя марать.

– Да каким же образом, скажите на милость, встреча на дороге с каким-то странствующим подмастерьем может повредить вашему доброму имени?

– Все вы, гаво, любите задирать перед нами носы, особенно за нашей спиной; и почему не сболтнуть при случае, что вот-де шел я из такого-то города, повстречал одного деворана и показал ему, где раки зимуют. Когда нет возможности покичиться своей смелостью на людях, вы рады похвалиться хотя бы подвигами, которых никто не видел.

– А девораны разве не любят иной раз прихвастнуть? Разве нет в вашем союзе лгунов да бахвалов?

– Что верно, то верно, вздорных людей да болтунов всюду хватает. Но ведь вот вы мое имя теперь знаете и можете быть уверены, что я не стану рассказывать про вас небылицы, а мне вы своего сказать не хотите. Что ж будет мне порукой в вашей честности? Кто помешает вам сказать, придя в Блуа, – ведь вы туда, как видно, держите путь? – повстречался мне, дескать, на дороге каркассонец Гроза Всех Гаво, я над ним посмеялся, а он мне и слова не посмел сказать, или же такое: я не ответил ему на окрик, а как стал он ко мне приставать, хорошенько его вздул. На то, что скажут всякие чужаки, мне наплевать, но мнением своих собратьев я дорожу. А что они подумают обо мне, если узнают об этом случае? Уж и так болтают про меня, будто после истории в Монпелье меня до того совесть замучила, что я всю храбрость свою потерял. Так что хоть мне это самому претит, но не могу, ради доброго своего имени, не могу я покончить миром встречу с гаво. Однако послушайте, хватит болтать, назовите свое имя.

– Мое имя ничего вам не скажет, – ответил ему Пьер, – оно не так знаменито, как ваше. Но раз у вас явились подобные подозрения, так и быть, назову себя. Только знайте: не потому, что я подчинился вам, а потому, что так велит мне мой разум. Зовут меня Пьер Гюгенен.

– Погодите, погодите... Не тот ли вы Пьер Гюгенен, которого прозвали Чертежником за его познания в геометрии? Не были ли вы первым подмастерьем в Ниме?

– Был. Разве нам приходилось там встречаться?

– Нет, не пришлось. Но я прибыл в Ним в тот самый день, когда вы ушли оттуда, и мне многое рассказывали о вас. Говорят, вы искусный столяр и славный парень. А все-таки теперь я знаю, кто вы такой, – гаво, дружище, чистой воды гаво!

– И я тоже теперь знаю, кто вы, – ответил Пьер Гюгенен, – вы человек с добрым сердцем. Я заключаю это из того, как вы раскаиваетесь в этой истории с Ипполитом Простаком, я вижу это по тем деньгам, которые вы посылаете его семье. Но вместе с тем много в вас спеси и предрассудков, и если вам не удастся освободиться от этих пут, не раз еще придется вам горько раскаиваться.

– Вы произнесли имя, которое мне мучительно слышать, – сказал Дикарь. – Если бы мне позволили, я отказался бы от прозвища Гроза Всех Гаво и взял бы другое, то, которым тогда мысленно называл себя. Я хотел взять прозвище Разбитое Сердце. Союз запретил мне это и правильно сделал: все стали бы смеяться надо мной.

– Может быть, и стали бы. Но я – я уважаю вас за то, что у вас явилось такое желание.

– Положим, не принадлежи вы, так же как Ипполит, к сыновьям Соломоновым, вас это так бы не тронуло. Будь это кто-нибудь из сыновей отца Субиза, вам было бы все равно, хоть забей я его до смерти. А вот я и в этом случае корил бы себя.

– Вы ошибаетесь. Я и тогда считал бы вас виноватым, но так же, как и теперь, уважал за ваше раскаяние.

– Как же это у вас получается? Недовольны вы своими гаво, что ли?

– Вовсе нет, но, как и вы, я принадлежу к сыновьям более великого, более человеческого отца, нежели Соломон или Жак.

– Что вы хотите сказать? Или есть какое-нибудь новое общество, чей учредитель еще более велик, чем наш?

– Да, есть общество более обширное, нежели общество гаво или деворанов. Имя этому обществу – все человечество. А во главе его – властитель более славный, чем все строители храма Соломонова, чем все цари иерусалимские и тирские. Имя его – Бог. И существует долг более благородный и подлинный, нежели долг хранить тайны и придерживаться обычаев. Долг этот – быть братом брату своему.

Жан Дикарь-деворан в замешательстве стоял перед гаво Пьером, немного недоверчиво и вместе с тем растроганно глядя на него. Наконец он шагнул вперед и протянул ему было руку, но тут же отдернул ее.

– Удивительный вы человек, – сказал он, – все, что вы говорите, помимо моей воли убеждает меня. Должно быть, вы много размышляли о предметах, над которыми у меня не было времени хорошенько подумать, но они всегда мучили меня, словно крики нечистой совести. Не будь вы гаво, я рад был бы сойтись с вами покорооче и порасспросить обо всем, что вы знаете. Но нельзя мне водить с вами дружбу, этого не позволяет мне моя честь. Прощайте же. Да откроются глаза ваши на мерзкие дела, что творит ваш богопротивный Союз долга и свободы, и да придете вы к нам, в наш древнейший, истиннейший, священный союз в Боге. И если вы пожелаете когда-нибудь избрать этот единственно истинный путь, я буду счастлив быть вашим поручителем и восприемником. И мы наречем вас именем Пьер Философ.

Так расстались эти два подмастерья, и каждый из них, уходя, мысленно сетовал (хотя каждый по-своему) на распри и раздоры внутри компаньонажа, которые так часто преграждают путь к просвещению и разрывают столько дружеских уз.

Глава VIII

К вечеру Пьер Гюгенен добрался до берегов Луары. Стоило ему только взглянуть на эту прекрасную реку, медленно несущую среди лугов спокойные свои воды, как палящий зной сразу же показался ему не столь мучительным. Ступая по мягкому речному песку, он пошел вдоль берега по тропинке, проложенной среди густо разросшихся прибрежных ив. Вдалеке уже виднелись потемневшие от времени колокольни Блуа и высокие стены того мрачного замка, где некогда нашли свою гибель Гизы^[21] и откуда позднее спасалась бегством Мария Медичи, пленница родного сына^[22].

Пьер пошел быстрее: надвигалась гроза, и он надеялся дойти до города раньше, чем она разразится, но вскоре понял, что ему это не удастся. Небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, которые нависли над Луарой, отражаясь в ее водах. Прибрежные ивы, отливая серебром, низко склонялись под резкими порывами ветра. Упали первые крупные капли дождя. Торопясь поскорее найти какое-нибудь убежище, Пьер бросился туда, где деревья росли чаще, и вскоре увидел среди кустарников довольно бедный на вид, но очень чистенький домик; по пучку остролиста, прибитому к его дверям, он догадался, что это одна из тех харчевен, где усталый путник всегда может отдохнуть и закусить.

Едва он переступил порог, как услышал радостный возглас.

– Кого я вижу! Вильпрё Чертежник, добро пожаловать, сынок! – приветствовал его хозяин этого уединенного приюта.

– Слышу дружественный голос, но не могу понять, где я, – отозвался Пьер, всматриваясь в темноту, очень удивленный, что кто-то здесь знает его прозвище.

– В доме верного твоего товарища, собрата твоего по Союзу свободы, – отвечал тот, подходя к нему с распростертыми объятиями, – у Швейцарца Мудрого.

– Как, это вы? Вы, мой старший товарищ, любезный мой друг! – вскричал Пьер, бросаясь к старому подмастерью. Они крепко обнялись. Но Пьер внезапно отшатнулся от него, и горестный стон вырвался из его груди: у Швейцарца Мудрого была деревянная нога.

– Да, такие дела, – начал свой рассказ Швейцарец. – Случилось все это со мной после того, как я упал с крыши. Оставил в больнице свою ногу, пришлось оставить и ремесло. Но друзья не покинули меня в беде. Наши славные ребята сложились, и на эти деньги я смог купить у одного торговца запасец вина и снять вот этот домик и теперь зарабатываю себе на пропитание. Здешные рыбаки и сыровары охотно заворачивают сюда, чтобы пропустить стаканчик-другой по дороге с ярмарки. Они прозвали меня Деревянной Ногой. А старые наши друзья, славные подмастерья, те называют мой кабачок «Колыбелью мудрости». Кое-кто из них обосновался сейчас здесь, в округе; по воскресеньям они заходят сюда посидеть под вьющимся хмелем, полакомиться свежей рыбкой и освежиться молодым винцом, а ведь для меня это всякий раз праздник. Я подливаю им понемножку дешевого питья, по два су за пинту, и беседую с ними о жизни, о труде, о пользе чертежей, и они слушают меня с тем же уважением, что и прежде. Потом мы начинаем петь наши старинные песни о славе Соломона, о благодати нашего Союза свободы, о веселых странствиях подмастерьев по Франции, о подневольном труде наших отцов, о прощании с родимым краем, о красоте наших возлюбленных. Ну, любовных-то песен я с ними не пою. Деревянная Нога и Купидон – подходящая парочка, что и говорить! Я лишь улыбаюсь, слушая, как их поют другие. Вот только боевых песен да язвительных куплетов на этих пирушках ты не услышишь – осторожность, как говорится, должна ходить на двух ногах, и уж здесь я не хромаю, даром что нога у меня одна. Так что видишь, не так-то мне плохо живется!

– Бедный, бедный мой Швейцарец, – сказал Пьер, – вижу, вы все тот же, такой же добрый и мужественный. Но эта деревянная нога... Нет, не могу примириться с мыслью, что вам

никогда больше не стоять на плотничьих лесах. Такой превосходный плотник, такой искусный мастер... Сколько пользы приносили вы молодым, уча их своему ремеслу!

– А я и теперь приношу пользу. Я по-прежнему учу молодых да советами им помогаю. Редко случается, чтобы кто-нибудь из них взялся за серьезную работу, не посоветовавшись сначала со мною. Некоторые вздумали мне плату предлагать за то, что я учу их чертить, но я отказался. Хорошенькое дело! Ведь это с их помощью получил я свое заведение, неужто после всех их благодеяний стану я еще с них деньги брать? Довольно и того, что они платят здесь за вино. Но зато как я бываю рад и горд, когда вижу, как кто-нибудь из них старается проскользнуть мимо моей двери незамеченным, потому что у него пусто в карманах, – случается ведь и такое! Тут уж я хватаю его прямо за шиворот, силой усаживаю под свой зеленый хмель и заставляю есть да пить. Какая славная это молодежь! Какое будущее открыто их добрым сердцам!

– Да, будущее, которое потребует от них много мужества, упорства, труда, а им принесет лишь нищету и страдания, – сказал Пьер, сбрасывая на стол свой тяжелый мешок и с глубоким вздохом опускаясь на скамью.

– Что я слышу! – вскричал Швейцарец. – Ай-ай-ай, как же так? Сдается мне, любимый мой выученик Чертежник падает духом... Не люблю я, когда молодежь нос вешает. Тебе нужно на часок-другой остаться у меня, земляк Вильпрё, надо нам поговорить по душам. А для начала немного закусим.

– С удовольствием, только не хлопчите, ничего особенного мне не надо, – сказал Пьер, видя, что хозяин уже устремился к шкафу с провизией.

– Уж позвольте здесь мне распоряжаться, юный мастер, – шутливым тоном отвечал плотник. – Не ваше дело составлять меню этого обеда, вы здесь не в харчевне, а у старого товарища, который приглашает вас откусать у него и угостит сейчас на славу. – И Швейцарец с удивительным проворством забежал по своему домику и саду. Из рыбного садка он вытащил двух великолепных линей, и вскоре масло уже весело шипело и трещало на сковородке, в то время как за окном глухо стонала вспученная бурей Луара и дождь равномерно стучал в окно. Пьер пытался было удержать его от всех этих хлопот, но увидав, как тот счастлив возможности оказать гостеприимство другу, махнул рукой и стал помогать ему, разделяя вместе с ним обязанности повара и виночерпия.

Но только собрались они сесть за стол, как раздался стук в дверь.

– Сделай милость, открой, – сказал Швейцарец своему гостю, – да пригласи войти.

Минуту спустя он чуть не выронил дымящееся блюдо, которое нес к столу, увидев, как радостно обнимаются Чертежник и вновь пришедший. Этот новый гость, промокший до нитки, с ног до головы забрызганный дорожной грязью, был не кто иной, как закадычный друг Пьера Гюгенена, подмастерье Амори, по прозванию Коринфеец из Нанта – превосходный столяр, надежда и гордость Союза долга и свободы, и к тому же еще один из самых красивых парней среди странствующих подмастерьев.

– Поистине сегодня день удивительных встреч! – вскричал Швейцарец, которому Пьер уже успел рассказать о своем столкновении с Жаном Дикарем из Каркассона. – Не иначе, как это кто-нибудь из наших братьев, больно уж горячо ты с ним обнимаешься.

А когда доброму Швейцарцу стало известно, что новый гость – лучший друг Пьера, да еще их собрат по союзу, он подбросил в очаг дров и поспешил принести теплую куртку, чтобы тот не простудился, в то время как будет сохнуть его промокшая одежда.

Пока пришелец отогревался – под грозовым ливнем легко схватить простуду, даже в самый жаркий день, – вновь появилось солнце, озаряя своими лучами сумрачное небо, темная туча медленно двинулась на восток, и радуга, отражаясь в Луаре, казалось, перекинула сверкающий мост между небом и водой. Вскоре и совсем распогодилось. После благодатного дождя воздух был так напоен ароматами, земля так прекрасна, что друзья решили перенести свою

трапезу в сад, под увитый хмелем навес. Несколько дождевых капель, скатившихся с чашечек цветов, упало, правда, на хлеб, который ели путники, но он не показался им от этого менее вкусным. В садике Швейцарца нежно благоухала жимолость, на соседнем кусте мелодично пел ручной дрозд, солнце клонилось к горизонту, Луара казалась огненной, и на пылающей ее поверхности рыбы прочерчивали тысячи сверкающих линий. Этот чудесный вечер, радостное свидание с двумя верными друзьями, легкое возбуждение от вина, может быть и не очень тонкого, но зато настоящего, без всяких примесей, от которого кровь быстрее течет в жилах, мудрые речи Швейцарца, дружеские излияния Амори – все это подняло дух Пьера Гюгенена, или Вильпрё Чертежника, как называли его среди подмастерьев, все это облагораживало его помыслы, направляя их в сферу прекрасного. Но по мере того как спускалась ночь, им вновь начинала овладевать прежняя печаль. Он приумолк; голос его не сливался более с голосами его друзей, продолжавших провозглашать тосты за счастливую их встречу, за странствующих подмастерьев, за славу столярного искусства, произносить разные высокие слова, которые вдохновляют подмастерьев на сочинение столь наивных и часто столь поэтических песен. Амори уже приходилось видеть своего друга таким задумчивым, и он не удивлялся его поведению, но Швейцарец, который был человеком доброго старого времени и мало что смыслил в меланхолии, стал корить его за это:

– Почему, по мере того как темнеет небо, лицо твое омрачается грустью? Или ты не веришь, что солнце завтра взойдет вновь? Неужто радости дружбы властны над тобой всего лишь час? Или ты слишком умен, слишком образован, чтобы разделить с нами наше веселье? Полно же! Откуда эти вздохи, вырывающиеся из твоей груди, почему отворачиваешь ты от нас свои глаза? Может, у тебя какое горе? Но ведь ты рассказывал нам, что, вернувшись домой, застал отца своего в добром здравии, что живете вы в согласии и в работе недостатка нет. Чего же тебе не хватает?

– Сам не знаю, – отвечал Пьер. – У меня нет причин жаловаться на судьбу, а между тем я уже не чувствую себя таким счастливым, как в ту пору, когда покидал родную деревню, или позднее, в первые годы моих странствий. С тех пор как я читаю книги не только по своему ремеслу, мной овладело какое-то странное беспокойство – то нахлынет на меня бурная радость, то глубокая скорбь. Скажу вам по совести, я долго старался подавить в себе бесплодные эти волнения, но уже не властен над собой. Слишком много мыслей теснится в моей голове, и я не могу спокойно сосредоточиться на чем-то одном. Бесхитростные удовольствия, отдохновение среди вас, людей столь милых мне, лишь недолго способны тешить меня. В этом беда моя, это словно недуг, и, кто знает, может быть, какой-нибудь врожденный порок. Но что-то беспрерывно гнетет меня и властвует надо мной. Я слышу внутренний голос, который шепчет мне: «Иди. Не останавливайся. Не довольствуйся достигнутым. Ты должен все познать, все успеть, все завоевать, чтобы жизнь твоя не прошла напрасно». Но стоит мне вновь взяться за дело, как тяжелое уныние и смертельная тоска охватывают меня. И тогда голос спрашивает меня: «К чему тебе все это? Зачем эти усилия? Ты хочешь стать искуснее другого? Зачем убиваешь ты свои дни на этот отупляющий труд – разве ты этим изменишь свою судьбу? Разве тебя ждет столь лучезарное будущее, что ради него стоит жертвовать радостями, которые дает настоящее?» Так беспрерывно сменяют друга друга в душе моей то пылкое воодушевление, то горькое разочарование, и жизнь моя проходит словно смутный сон, который, не запечатлеваясь в памяти, оставляет после себя одно лишь чувство усталости. О друзья мои, скажите, что за недуг терзает меня? Если я в чем-то виноват, – а должно быть, это так, ибо совесть почему-то терзает меня, – объясните мне, в чем же моя вина? И помогите вернуться на верный путь...

Амори Коринфеец выслушал эту речь с сочувственным видом. Менее склонный, чем Чертежник, предаваться мучительным раздумьям, он все же способен был понять причины его страданий. Но Швейцарец внимал Пьеру с глубоким изумлением. Философ от природы, он был

человеком здравомыслящим, уравновешенным, неизменно веселым, и ему непонятно было смутное беспокойство, овладевшее ныне молодым поколением.

– Видно, и впрямь есть у тебя что-то на совести, – сказал он Пьеру, – а может, всему виной твоя страсть к учению, которая пробудила в тебе непомерное честолюбие? Знал я таких тщеславных юношей, что из кожи вон лезли, чтоб преуспеть да отличиться. А чего они добились? Скромностью и смирением они достигли бы большего. Уж не слишком ли алчешь ты славы и богатства, бедный мой Вильпрё? Может, тебе хочется, чтобы имя твое вознеслось над именами знаменитейших наших собратьев по Союзу свободы, может, ты мечтаешь о состоянии, богатом доме, высоком положении? Что ж, тебе-то ко всему этому путь не заказан – ты человек усердный, способный, да и отец твой неплохо устроен, сам же ты говорил, что после него тебе кое-что останется. Живи себе да радуйся, чего, кажется, еще нужно? Так ведь вот нет, странное дело – не раз уж я это замечал, – чем человек богаче, тем он жаднее, чем большего достиг, тем большего хочет, чем больше одолел препятствий, тем более склонен придумывать себе новые. Да, великое благодеяние оказывает Провидение, избавляя от подобных желаний тех, кому не на что надеяться. Только неимущий может быть истинным стойком. Слышал я, будто человек, который создал эту философию – не помню уж как его звали, – был рабом^[23]. Верно, и вправду был он гол как сокол, откуда бы иначе взялось у него столько мудрости и терпения? Да, спорить тут не приходится: богатство – это великое зло, от учения один только вред, а талант для человека вроде лихоманки... А вот поди ж ты, все это нам, людям, зачем-то нужно, все мы, как один, гоняемся за подобными пустяками.

Внимательно и грустно внимал Пьер этой обвинительной речи Швейцарца Мудрого. Выслушав ее, он взглянул на Амори, и тот, в свою очередь, заговорил:

– Не сочтите это за обиду, – сказал он, – но я с вами не согласен. По-моему, честолюбие не такой уж порок, и нет никакого преступления в том, что человек хочет чего-то добиться. Для чего мы учимся? Чтобы приобрести знания и умение. А знания и умение нужны нам для того, чтобы достичь благосостояния. Для чего же стараемся мы достичь его? Чтобы со временем иметь право отдохнуть. Отнимите у нас стремление к лучшему, это желание преуспеть – кем мы будем? Невеждами, лодырями, а может, и похуже, ибо невежество родит порок, а если уж попадаете среди нас такой бездельник, то он непременно в придачу еще и пьяница, и распутник, и грубиян, да и вообще человек, потерявший подобие Божье. А теперь возьмем вас, дядюшка Швейцарец. Ваше увечье не позволяет вам работать по-прежнему, и наши братья из уважения к вам возместили вам то, что вы потеряли, – ваше право на отдых. Это было только справедливо: человек, который на совесть трудится и честно живет, достоин вознаграждения. Стало быть, то, чем вы сейчас владеете, приобретено вами честным путем, и ваш нынешний достаток вы можете рассматривать как плод собственного труда: ведь не случись с вами несчастья, вы бы заработали все это сами. Но вот скажите-ка, чем заняты вы в те часы, когда вам не приходится хлопотать в харчевне? На что тратите вы свой досуг? Читаете, как я вижу, вон у вас и полка с книгами; делаете чертежи плотничьих работ (такой чертеж я заметил на той стене, и как же превосходно сделана растушевка!); наслаждаетесь поэзией, любовно собираете старинные песни нашего союза и знаете их наизусть, а вот тетрадка, куда вы переписываете слова тех из них, которые уже успели позабыться или искажаются невежественными певцами. Так, значит, вы не впали в отчаяние, не покорились судьбе, не превратились в несчастного, никому не нужного калеку – напротив, сумели взять себя в руки, начали развивать свой ум, совершенствоваться в письме, обогащать свою память, интересоваться всякими науками, философией, даже политикой – это сразу видно, стоит только поговорить с вами. Значит, вам мало ублажать себя вкусными блюдами да считать доходишки. Нет, вы послушны голосу некоего тайного честолюбия, оно-то и не позволяет вам поддаться своему горю. Выходит, дорогой философ, при всем вашем благоразумии вы тоже честолюбец и мечтатель? Попробуйте-ка опровергнуть это!

– Твой друг земляк Вильпрё говорит как книгу читает, – сказал Швейцарец, втайне весьма польщенный комплиментами, преподносимыми ему в форме логических аргументов, – должно быть, он прав, в самом деле, я бы помер со скуки в своем одиночестве, когда б не книги да всякие альманахи, не песни, старые и новые, а еще беседы с путниками, что находят у меня приют. Но ведь мне-то все это приносит радость. Ладно, пусть я честолюбец, но я же не хандрю. Мне сроду не случалось испытывать страдания, о которых говорил давеча Чертежник, и несчастлив я был только раз в жизни, – это когда я увидел, как мою бедную ногу уносят прочь от меня, и решил, что и голова и руки мне теперь тоже ни к чему. Но явились друзья, стали уговаривать, что руки и голова мне еще пригодятся, и что же, они оказались правы. Впрочем, нет, есть и у меня желания, порой они тревожат и меня. Я хотел бы вновь увидеть мою Швейцарию, горы, родимый мой Во, хоть у меня ни одной живой души там не осталось. Но это несбыточная мечта: узы дружбы и благодарности отныне крепко держат меня здесь, на берегах Луары. И все же случается и со мной, что я потихоньку вздыхаю, глядя на заход солнца, на облака, что гроздятся там белыми, золотистыми, серебристыми, багряными грудями, и воображаю, будто это Монблан. Я вырыл в своем садике ручей – и назвал его Роной. А вон тот пригорок, что весь засажен розовыми кустами и сиренью, я назвал Юрой. Мне это и забава и утешение. Бывает, что слезы наворачиваются у меня на глаза – тогда я принимаюсь слагать песни и пою их... И вот, в конце концов, я все же счастлив. Стало быть, есть два рода честолюбцев: одни страдают и вечно всем недовольны, другие умеют радоваться и счастливы малым. Не хочешь ли стать таким же честолюбцем, как я, земляк Вильпрё?

– В том, что вы оба здесь говорили, немало справедливого, – сказал Пьер, – но ни один из вас так и не сумел определить, где же источник моего недуга. Я такой же плохой врач, как и вы: сердце мое кровоточит, а я все не пойму, где же та рана, через которую уходят из него моя кровь, и надежды, и сама жизнь. И, однако, клянусь перед Богом, мне ничего не нужно сверх того, что у меня есть, разве что несколько лишних часов в неделю, которые я посвятил бы чтению и размышлениям. Нет, клянусь еще раз честью своей, меня не влекут ни богатство, ни слава. Вы полагаете, что я несчастен из-за этих нескольких недостающих мне часов? Вряд ли, источник моего недуга где-то глубже. Может, со временем я сам пойму, в чем тут дело. А пока обещаю – отныне буду страдать молча и больше никогда не позволю себе нагонять тоску на других.

Глава IX

Было уже совсем темно, когда Пьер собрался продолжить путь вместе с Амори, который тоже направлялся в Блуа. Боясь нарушить застольную беседу на философские темы разговором о деле, он ни словом не обмолвился о том, что его занимало, но с нетерпением ждал возможности остаться с другом наедине. Швейцарец пытался было уговорить их провести ночь под его кровом, но оба твердо заявили, что времени у них в обрез. Однако Коринфец пообещал, что еще заглянет к нему в «Колыбель мудрости» посидеть за бутылкой пива, если только, как он это предполагает, ему придется задержаться на время в Блуа. Пьер, которому не терпелось как можно скорее попасть домой, тоже дал слово старому другу, что на обратном пути завернет на минуту, чтобы пожать ему руку. Недавний ливень совершенно затопил молодой ивняк, окаймлявший извилистую дорожку, по которой подмастерья пришли сюда; Швейцарец взялся провести их другим, более сухим путем и с четверть мили с удивительной для одного человека легкостью и быстротой шел впереди. Выведя их на большую дорогу, он пожелал им счастливого пути.

– Впрочем, – прибавил он, – мы все равно скоро увидимся, ведь само собой разумеется, оба вы останетесь в Блуа. И если я вас не дождусь, сам приду в город. Я там не частый гость, но раз уж такие дела... и ожидаются такие события...

– Какие события? – спросил Чертежник.

– Ладно, ладно, молчу, – ответил Швейцарец, – ваша правда, об этом лучше не болтать. Я не вашего ремесла, и мне знать ваши дела не положено. Тайну надо хранить, это правильно, и я вовсе не думаю, что вы храните ее именно от меня. Хотя, по совести говоря, когда состоишь в одном союзе, можно бы друг другу и доверять подобные вещи. Ну, да не беда! Раз это еще остается в тайне, вы правильно делаете, что держите язык за зубами. До свидания же, и да хранит вас великий Соломон! А вот и луна взошла. Теперь вам надо свернуть направо, потом налево, а там все прямо, прямо до большой дороги.

Он пожал им руки и заковылял обратно в свою «Колыбель мудрости». И долго еще раздавался в темноте его постепенно удалявшийся сильный, мужественный голос. Он пел последние куплеты длинной и наивной песенки собственного сочинения:

Я с двадцати годов немало
По милой Франции бродил,
Когда своих двоих хватало,
Я в дилижансах не катил.
Пусть по свету меня мотало,
Зато пригож и молод был,
Надеждой сердце ликовало –
Я пел, работал и любил.
Да, потрудился я немало,
И ноги в кровь я исходил.
Ох, как в Провансе я, бывало,
Ни рук, ни силы не щадил!
Меня наука донимала,
С ней молодость свою сгубил,
А нынче тишь в душе настала –
Я сердцем Бога восхвалил².

² Перевод С. Петрова.

– Какой славный, какой превосходный человек! – сказал Пьер, остановившийся, чтобы дослушать песню. – Ах, Амори, Амори, ну разве это не прекрасно – песня достойного человека? Этот сильный, мужественный голос, звучащий над полями и лугами и разносящий по белу свету безыскусные эти стихи, разве не звучит он словно торжествующий гимн чистой совести? Вот мы стоим с тобой на проезжей дороге. Взгляни, вон мчится роскошная карета на рессорах – найдем ли мы среди сидящих в ней хоть одного человека, чье сердце было б столь же чисто? Поются ли в ней столь же пленительные песни? Нет, ни единый человеческий голос не раздастся из глубины этого походного жилища богача, где окружают его привычные удобства. А вот едет купец на добром коне, в седле у него мешок с деньгами, пистолеты блестят при лунном свете. Он нас боится, он не доверяет нам. Вот он натягивает поводья и сворачивает в сторону, чтобы не встретиться с нами. Конь его изнемогает под тяжестью золота, сердце – под бременем тревоги. Он едет вперед с опаской, уста его молчат. Бедный купец, слышишь ли ты радостную песню, что доносится к тебе с берега Луары? Можешь ли ты поверить, что это поет калека, старик, у которого ни семьи, ни денег, ни пистолетов, а только деревянная нога, да еще любящие сердца нескольких верных друзей, таких же бедняков, как и он сам?..

– Твои слова трогают меня, – промолвил Амори, – и слезы невольно льются из глаз, когда я слушаю эту песню. Почему это, Пьер, скажи? Ты ведь так хорошо умеешь все объяснить.

– Бог велик, но велик и человек, – сказал Пьер и вздохнул.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Амори.

– Это длинный разговор, милый мой Коринфец, и, право же, поговорим о чем-нибудь другом, – ответил на это Пьер, и они зашагали дальше. – Объясни лучше ты мне, что значат последние слова Швейцарца. О каких это событиях, о какой тайне он говорил?

– Как! – вскричал Амори. – Ты не знаешь, что происходит сейчас в Блуа между нами и деворанами? А я ведь думал, ты получил приглашение и идешь туда по зову наших товарищей.

– В Блуа я иду по собственному делу, которое к тому же, если только надежды мои меня не обманут, можно считать уже наполовину улаженным.

И Пьер рассказал другу, что ищет себе в помощь двух хороших работников и надеется, что Амори согласится быть одним из них. Он описал ему работу, к которой собирается его привлечь, предложил выгодные условия и горячо просил не отказываться.

– Разумеется, я был бы счастлив поработать вместе с тобой, а что до условий, то ничего лучшего я и желать не мог, – ответил Амори, – но посуди сам, имею ли я право в такое время располагать собой: ведь Союз свободы собирался отыгрывать Блуа у деворанов.

Поскольку не всем нашим читателям это странное сообщение покажется столь же понятным, как Пьеру Гюгенену, постараемся в нескольких словах объяснить, о чем идет здесь речь.

Когда два соперничающих союза обосновываются в каком-нибудь городе, им редко удастся сохранить между собой мир. Малейшее нарушение молчаливого соглашения о перемирии приводит к бурным столкновениям. Каждая из сторон пользуется любым поводом (или же выдумывает его), чтобы оспорить право конкурирующих подмастерьев жить и работать в данном городе; раздоры эти иной раз длятся годами, сопровождаясь кровавыми побоищами. В конце концов, если стороны оказываются равными по силе, упорству и неуступчивости и все словесные прения и драки ни к чему не приводят, остается последнее средство – *разыграть город*, точнее монополию подмастерьев данного союза селиться и работать в нем. Так сто десять лет тому назад (это факт исторический) город Лион разыгрывался между каменотесами Общества Соломона, прозванными *чужими подмастерьями*, иначе – *волками*, и каменотесами Общества мастера Жака, иначе – *прохожими подмастерьями*, или *оборотнями*, причем выиграли *чужаки*. В течение столетия соглашение свято соблюдалось: ни один прохожий подмастерье не появлялся за это время в их «владениях». Но по прошествии ста лет изгнанные вновь стали селиться в Лионе, считая, что имеют на это полное право ввиду истечения срока

соглашения. Дети Соломоновы придерживались другого мнения; их существующее положение весьма устраивало, и они утверждали, что, поскольку уже целое столетие владеют городом, имеют бесспорное право владеть им и в дальнейшем. Последовали переговоры, которые ни к чему не привели, начались кровавые столкновения, в дело вмешались власти, участники боев были разогнаны. Некоторые из них проявили чудеса храбрости, за что попали в тюрьму и даже на каторгу. Но хотя французское законодательство не признает и отнюдь не склонно поддерживать подобные *масонские* организации рабочих, власти оказались бессильными положить конец этим распрям. Ныне дело передано негласным судам компаньонажа, и есть основания опасаться, что еще не один доблестный воитель из странствующих подмастерьев прольет свою кровь и пожертвует свободой. Впрочем, не так давно отдельные подмастерья, люди просвещенные и смелые, задумали важное дело – слить все соперничающие общества в единый союз. Будем надеяться, что благородные их попытки не пропадут втуне, что им удастся одержать верх над предрассудками и принцип братства восторжествует.

Нам остается теперь добавить лишь несколько слов о том, каким образом еще и в наши дни решаются подобные споры. Решаются они не жеребьевкой или бросанием костей, а соревнованием в мастерстве. Каждая сторона изготавливает какую-нибудь пробную вещь, наподобие тех, которые в старинных цехах назывались *шедевром*. Общеизвестно, что в старину, в пору братств или корпораций, звание мастера можно было получить, только представив такую пробную работу на суд старейшин и знатоков, призванных установить право соискателя на это звание. Гофман в своей новелле «Мартин-бочар» (которую сам с полным на то основанием мог бы назвать своим шедевром) воспел этот прекрасный период в жизни ученика, поэтически изобразив все этапы его – представление к званию мастера, работу над шедевром, церемонию принятия в мастера и прочее. В наши дни, когда звание это уже не завоевывается путем соревнования, а легко может быть получено каждым, к подобному соревнованию прибегают только в тех случаях, когда нет другой возможности разрешить спор двух соперничающих обществ и дело доходит до разыгрывания города. В таком случае объявляют конкурс. Каждая сторона выбирает среди наиболее искусных своих подмастерьев одного или нескольких наилучших, которые с рвением принимают за дело, готовясь сокрушить своих соперников высоким совершенством того изделия, которое решено сделать предметом соревнования. В жюри избираются лучшие мастера как с той, так и с другой стороны, а то и вовсе ни в каком союзе не состоящие, или подмастерья, уже вышедшие из товарищества, но пользующиеся репутацией неподкупных и чаще всего особенно искусные в данном ремесле. Приговор жюри обжалованию не подлежит. Какое бы он ни вызывал недовольство, каким бы тайным ропотом ни был встречен, побежденный союз обязан подчиниться и все члены его должны покинуть город на более или менее долгий и заранее обусловленный срок.

Вот такого рода переломный, решающий момент и переживали существовавшие в Блуа союзы ремесленников к тому времени, когда Пьер Гюгенен и Амори подходили к городу.

Чужим подмастерьям, или гаво, появившимся в городе всего несколько лет тому назад, приходилось вести непрерывную борьбу с союзами, обосновавшимися здесь прежде, выдерживая при этом натиск не только со стороны столяров-деворанов, но еще и плотников-дриллей, иначе – детей отца Субиза. Уже имело место несколько столкновений в разных концах города; перед лицом двойной опасности гаво решили прибегнуть к состязанию, чтобы обезопасить себя от столяров; даже в случае поражения они получили бы хоть на время конкурса передышку в этой непрекращающейся войне. Что касается плотников, то гаво надеялись держать их пока на расстоянии, сохраняя свое достоинство и не ввязываясь в ссоры с ними. Амори, слывший среди гаво искуснейшим столяром, шел теперь в Блуа, по приглашению совета своего общества. Радость и страх обуревали его: ведь вместе с другими знаменитыми подмастерьями ему предстояло помериться силами с отборнейшими столярами деворанов.

Обо всем этом не без гордости поведал он своему другу, однако тут же с подкупающей скромностью добавил:

– Одно удивляет меня во всем этом, дружище Вильпрё: я-то приглашение получил, а тебя, что же, обошли? Но ведь если есть среди нас, столяров, человек, превзошедший всех остальных по всем решительно статьям, то это уж никак не я, а, разумеется, ты, Чертежник!

– В этих лестных для меня словах я вижу лишь свидетельство великодушной твоей дружбы, – ответил Пьер. – Но будь я даже столь безрассуден, чтобы поверить, будто и в самом деле обладаю достоинствами, которые ты мне приписываешь, я и тогда не имел бы основания сетовать, что обо мне забыли. Ибо, признаюсь тебе, этого я хотел и никогда бы по собственной воле не напомнил о себе. Когда после четырех лет странствий я решил вернуться домой, то сделал все, что мог, чтобы уход мой не был замечен в нашем союзе. Я не устраивал торжественного прощания, а просто выполнил все свои обязательства, за все сполна расплатился и в одно прекрасное утро взял и ушел. Не думаю, чтобы кто-нибудь обиделся на меня за это. Меня могут обвинить в своенравии, но в неблагодарности никто не упрекнет. Мне не терпелось поскорее покончить с этим тревожным существованием, я жаждал вернуться в родные края, и все, что могло задержать меня хоть на день, казалось мне тогда насилием надо мной. Вот два месяца, как я работаю у своего отца, и никому из старых друзей не давал еще знать о себе.

– Даже мне! – с упреком заметил Амори.

– Я надеялся на Провидение, и недаром, как видишь, – оно вновь свело нас. С тобой я рад бы вовек не расставаться, и, согласись ты сейчас отправиться со мной в Вильпрё, я был бы самым счастливым человеком. Но писать тебе я не мог. Не всегда письмо к другу способно облегчить страдания. Напротив, бывают нравственные переживания, которыми трудно делиться именно с тем, кто особенно тебе дорог. И сам впадешь в уныние, и на него нагонишь тоску. Да и как мог бы я писать тебе о своей печали, когда и сам не понимаю ее причин! Ты заподозрил бы меня, пожалуй, в том же, в чем заподозрил Швейцарец. Дружеские излияния требуют встречи. Никогда письмо не заменит свидания...

– Все это так, – отозвался Амори, – и молчание твое мне понятно; но печаль, явившаяся причиной его, все более и более удивляет меня. Я всегда знал, что ты рассудителен, серьезен, скромен, что ты чуждаешься шума и суеты, но при этом ты умел быть таким душевным, доброжелательным и пылким в дружбе. Откуда эта нынешняя твоя нелюдимость и то странное безразличие, которое ты проявляешь к делам нашего союза? Может, с тобой поступили несправедливо? Ты же знаешь, в подобных случаях потерпевший вправе требовать защиты. Собирается совет, заслушивает тебя, и старейшина восстанавливает справедливость.

– Нет, никто не обижал меня, – ответил Пьер, – и своих товарищей подмастерьев я вспоминаю только добром. Почти всех, с кем приходилось мне иметь дело, я искренно уважаю, а некоторых горячо люблю. И союз наш кажется мне самым достойным из всех и самым лучшим по своим порядкам. Ведь раньше, чем вступать в него, я некоторое время приглядывался к установлениям других союзов, к их обычаям. Мне показалось, что у них подмастерья менее свободны, чем у нас, и более отстали в своих понятиях. Поэтому я и предпочел наш союз. Возможно, что это была моя ошибка, но тогда, вставая под его бело-голубое знамя, я делал это от чистого сердца. У нас хоть нет всех этих перекличек и подвываний, и если единые законы компаньонажа порой и вынуждают нас драться с подмастерьями других обществ, все же всякие взаимные подстрекательства, которые там насаждаются и возводятся в священный принцип, весь этот фанатизм, чужды, мне кажется, духу нашего союза. Но если ты хочешь знать истинные причины тайной моей тоски, я открою тебе свое сердце. Мне не хотелось охлаждать твое воодушевление, колебать ту безграничную веру в свой союз, которая призвана быть двигателем жизни каждого подмастерья. Но придется признаться тебе – вера эта во мне пошатнулась. Увы, это так. Священный дух корпорации постепенно угасает во мне. По мере того как я знакомлюсь с подлинной историей народов, легенда о храме Соломоновом начинает представ-

ляться мне просто детской сказкой, грубым вымыслом. Все яснее становится мне, что у всех нас, рабочих, одна, общая судьба, и все более диким и пагубным кажется варварский обычай создавать между нами различия, делить на какие-то касты, на враждебные лагеря. Неужели мало нам исконных наших врагов, тех, кто наживается на нашем труде? Зачем нам еще и самим истреблять друг друга? Нас душит алчность богачей; нас унижает бессмысленная кичливость дворян; попы, подлые их сообщники, обрекают нас до скончания века тащить на израненных наших плечах тяжкий крест, подобный тому, который нес на плечах своих Спаситель и чьим изображением украшают они ныне парчовые и шелковые свои одежды. Так неужели мало нам этих обид и мы недостаточно еще несчастны? Мы низведены до положения парий общества; зачем же насаждать нам и в собственной нашей среде нелепое, преступное это неравенство? Мы издеваемся над аристократами, над их притязаниями, их гербами, ливреями их лакеев, мы презрительно смеемся над их родословными, а чем отличаемся мы от них? Мы спорим о том, чей союз старше, глупо кичимся древностью происхождения, а стоит только образоваться какому-нибудь новому обществу, как мы объявляем его незаконным, и нет тех оскорблений, тех бранных слов, тех язвительных куплетов, которые мы не обрушили бы на него. Во всех концах Франции мы преследуем себе подобных, оспаривая друг у друга право носить на груди эмблему своего ремесла – циркуль и угольник, как будто всякий работающий в поте лица не вправе носить на груди знаки своей профессии! Цвет ленты, место, куда ее прикалывают, форма серги – вот те важнейшие вопросы, из-за которых разжигается ненависть и льется кровь несчастных ремесленников. Как подумаю об этом, не знаю – то ли смеяться, то ли плакать от стыда...

Молодой проповедник не в силах был продолжать далее эту пламенную свою речь. Сердце его переполняло благородное негодование, и у него не хватало слов выразить его. Он остановился, волнение теснило ему грудь, лоб пылал.

– Ах, Амори, Амори! – глухо вскричал он, сжимая руку друга. – Ты хотел узнать, что терзает меня? Я открыл тебе причину своих страданий; мне кажется, ты должен понять меня. Нет, я не безумец, не пустой фантазер, не честолюбец, не предатель. Но я люблю людей моего сословия и несчастен оттого, что они ненавидят друг друга.

О, беспристрастный критик (или, как говаривали мы когда-то, благосклонный читатель), не будь слишком строг к робкому переводчику, пытающемуся донести до тебя слова рабочего! Человек этот говорит совсем другим языком, чем ты, и повествователю, взявшемуся передать его мысли, поневоле приходится исказить своеобразную эту речь, ее пленительную шероховатость, поэтическую ее неумеренность. Быть может, ты обвинишь этого неловкого посредника в том, что он приписывает своим героям мысли и чувства, им якобы не свойственные. На этот упрек он ответит тебе кратко: «Познай их». Покинь те вершины, где муза изящной словесности так давно уже обитает вдалеке от большинства человечества. Спустись туда, откуда так охотно черпает свои темы комическая поэзия, в этот излюбленный источник комедии и карикатуры. Вглядишься в серьезные лица этих мыслящих, духовно богатых людей, которых ты все еще считаешь темными и грубыми, и ты найдешь среди них немало Пьеров Гюгененов. Вглядишься, вглядишься внимательно, умоляю тебя, и не спеши выносить несправедливый приговор, осуждающий этих людей на вечное прозябание в невежестве и злобе! Узнай их недостатки и пороки, ибо они есть у них, не стану скрывать это от тебя. Но познай и величие их и их добродетель. И от общения с ними ты сам почувствуешь себя таким чистым и добрым, каким не был уже давным-давно.

Простота души – вот что поистине восхитительно в народе, та святая простота, которую мы, увы, утратили с тех пор, как придаем столь непомерно большое значение форме наших мыслей. Для народа всякая мысль, в какой бы форме она ни предстала ему, есть нечто новое; будь истина выражена даже самыми банальными словами, все равно она исторгает у него слезы восторга и упования. О, благородное младенчество души, источник роковых заблуждений, пле-

нительных иллюзий, героизма, самоотвержения, позор тому, кто пользуется тобой в корыстных целях! И да будет благословен тот, кто, избавив народ от невежества, поможет ему достичь возмужалости, не лишая при этом детского его целомудрия!

Благодаря той особой душевной чистоте, которая так свойственна людям с неискушенным умом, Пьер Гюгенен всегда легко находил понимание у мыслящих людей своего круга, и потому слова его не рассердили Коринфца и не вызвали в нем желания спорить. Молча слушал он его. Затем, пожимая ему руку, сказал:

– Ах, Пьер, Пьер, ты разбираешься во всем этом лучше меня, и мне нечего тебе ответить. Только мне грустно, как и тебе, и я, право, не знаю, как помочь нам обоим...

Глава X

Чтобы обнаружить в далеком прошлом причины вражды, лежащей в основе тех раздоров между рабочими обществами, на которые сетовал Пьер Гюгенен, понадобились бы длительные исторические розыски. Впрочем, здесь все неясно. Рабочие, если им что-нибудь на этот счет и известно, тщательно это скрывают, но я весьма подозреваю, что они знают об этом не больше нас. Что означает, например, вся эта история с убийством Хирама во время постройки храма в Иерусалиме^[24], являющимся предметом непрекращающихся кровавых раздоров между двумя старейшими обществами – Обществом Соломона и Обществом мастера Жака, иначе говоря – между гаво и деворанами, или, еще иначе, между Союзом долга и Союзом долга и свободы, история, которую большинство рабочих склонны принимать совершенно всерьез и отнюдь не в символическом смысле. Одно общество обвиняет другое в кровавом этом преступлении, каждое стремится обелить себя, и в знак своей непричастности к нему во время торжественных церемоний каждого из обществ все участники его надевают перчатки. Люди подстрекают друг друга, избивают, калечат, убивают, мстя за убийство Хирама, возглавлявшего некогда постройку храма в Иерусалиме и убитого несколькими жестокими, завистливыми рабочими, которые затем спрятали его труп под грудой щебня. В основе всего этого лежит, должно быть, подлинное историческое событие, а может быть, это и вымысел, притом не лишенный поэзии, в котором выражена как бы квинтэссенция истории народа – его прошлого и будущего.

Но так же, как это свойственно и народам в пору их младенчества, рабочие понимают эту легенду буквально, ибо они настоящие дети, столь же легковверные, с теми же необузданными инстинктами, теми же добрыми, чистыми порывами, которые присущи ребенку. Да, моя дорогая, любезная моя читательница, народ – это исполин-младенец, который, чувствуя, как теснят его широкую грудь жизненные силы, встал на ножки и делает первые свои еще неверные шаги по краю бездны. Кому суждено сорваться вниз – нам или ему? Сударыня, сударыня, торопитесь, спешите еще покрасоваться, пощеголять своими бриллиантами: не ровен час, окажется, что они обагрены кровью Хирама, и кто знает, не придется ли вам тогда спрятать их подальше или отбросить прочь.

Несколько образованных и начитанных рабочих (а что среди них есть такие, это я могу засвидетельствовать) глубокомысленно пытались проникнуть в эту тайну. Одни связывают происхождение своего общества с гибелью храмовников^[25], а пресловутый мастер Жак, главный плотник царя Соломона, по их словам, не кто иной, как великий магистр Жак де Моле – этот мученик, сожженный на костре злым и жадным королем по имени Филипп. По мнению других, корни неутихающей этой вражды уходят в еще более далекое прошлое, и в основе ее лежит якобы та ненависть, которую разоренные и преследуемые альбигойцы^[26], прибрежные жители пиренейских гавов – горных рек (отсюда и название гаво), питали к северным палачам и инквизиторам-доминиканцам^[27], изгонявшим их из Южной Франции. Нам же ничего не мешает предположить, что все эти жестоко подавленные восстания – вальденсов^[28], пастуралей^[29], протестантов и кальвинистов^[30], являвшихся в той или иной мере приверженцами и последователями учения о «вечном Евангелии»^[31] и в разное время обильно поливших своей кровью равнины и дороги Франции, оставили после себя немало горьких воспоминаний и непрощенных обид, которые, переходя из поколения в поколение, дошли и до наших дней. Настоящая причина вражды забыта, утрачена, неизменно преображена в смутной веренице преданий, но ненависть жива и поныне. Незачем ездить на Корсику – трагическая поэзия вендетты^[32] здесь, рядом с вами, в вашем собственном доме. Каменщик, воздвигнувший ваше жилище, – исконный враг плотника, возведшего стропила; какой-нибудь тайный знак, слово, взгляд – и вот уже кровь брызнула на этот камень, символ их древнего происхождения, мистическую основу их прав.

Существуют два общества, происхождение которых относится якобы еще к незапамятным временам. Мы только что называли их³. Из этих двух обществ, а быть может, из одного из них, выделилось враждебное им обоим третье – Общество единения, или Общество независимых, иначе называемое еще Обществом бунтовщиков. Оно было основано в 1830 году в Бордо учениками, восставшими против своих подмастерьев, а также присоединившимися к ним «мятежными» учениками Лиона, Марселя и Нанта. Есть еще четвертое – Общество отца Субиза, причисляющее себя к деворанам. Итак, существуют четыре основных общества, или четыре Союза долга, каждый из которых включает в себя несколько ремесленных цехов. Наряду с ними существуют еще и другие, более позднего происхождения, довольно многочисленные, которые всеми правдами и неправдами стремятся влиться в одно из названных четырех обществ, причем некоторых охотно принимают, другие же встречают жесточайший отпор.

Для того чтобы дать хотя бы самое приблизительное представление о всех этих обществах, их происхождении, их притязаниях, их уставах, порядках, обычаях и взаимоотношениях, понадобилось бы написать целую книгу. Одни общества как-то связаны между собой. Так, например, Дети отца Субиза, так же как и Дети мастера Жака, гордо относят себя к Союзу долга, хотя нельзя сказать, чтобы они особенно ладили между собой. Бывает, что между двумя обществами существует исконная вражда. Цеха одного и того же союза находятся порой в самых различных отношениях между собой – одни поддерживают друг друга, другие живут в смертельной вражде. Вообще вновь образовавшиеся общества, как правило, встречают высокомерное сопротивление старых, и свое право гражданства в компаньонаже им приходится завоевывать ценою крови. Каждый союз имеет свой устав. Согласно одним уставам, кандидат в подмастерья проходит только две степени испытания, согласно другим – их должно быть три, а то и четыре. Таким образом, положение одного кандидата может быть благоприятным, а другого – чрезвычайно трудным, в зависимости от того, деспотический или свободолюбивый дух царит в том обществе, которое принимает его в подмастерья. И все эти враждующие между собой группы ремесленников со своими различными уставами и обычаями образуют общее понятие – Сообщество странствующих подмастерьев.

Каждое общество имеет свои города, где всякий относящийся к нему подмастерье может остановиться, совершенствоваться в своем ремесле или работать, рассчитывая при этом на помощь, поддержку и содействие местного товарищества подмастерьев, обозначаемого единым названием «общество». Срок пребывания в городе того или иного подмастерья определяется как личными его нуждами, так и интересами всего товарищества, и если подмастерьев оказывается слишком много, чтобы все могли прокормиться, те, которые прибыли ранее, должны покинуть город, уступая место тому, кто пришел позднее.

Есть города, в которых может одновременно находиться несколько союзов, есть такие, которые являются исключительной собственностью лишь одного союза, то ли вследствие давней традиции, то ли по особому соглашению, как это имело место в Лионе, которым один союз «владел» на протяжении столетия.

Все союзы, так же как и входящие в них объединения, имеют определенный круг деятельности, которая, если подходить к ней с точки зрения высших принципов, носит характер весьма гуманный и благородный. Сюда относится наем ремесленника, то есть церемония допущения его к работе, взимание расписки, которой товарищество ручается за его честность; посредничество между хозяином и подмастерьем, устройство проводов – церемония братского прощания с теми, кто покидает город, забота о больных, предание умерших земле, празднества в честь святого покровителя данного общества и ряд других обычаев, приблизительно одинаковых во всем компаньонаже. Различия только внешние – в произносимых формулах, в званиях, знаках, цвете знамени, песнях и т. д.

³ См. книгу о компаньонаже Агриколя Пердигье, по прозвищу Авиньонец Благонравный. (Примеч. автора.)

В провинции с компаньоном связано подавляющее большинство ремесленников. Лишь очень небольшая их часть не видит в нем для себя пользы и не стремится приобщиться к нему. Так происходит в отсталых деревнях центральной Франции, где ремесло, как правило, передается по наследству и сын или племянник естественно становится учеником отца или дяди. Когда судьба юноши, таким образом, с самого начала предопределена, у него редко появляется стремление отправиться совершенствоваться в своем ремесле. В компаньонаже здесь, таким образом, нет особой нужды, и хождение по Франции в этих краях не принято.

Некоторые ремесленные цеха, прежде входившие в тот или иной союз, ныне потеряли с ним всякую связь: перестав нуждаться в его помощи и защите, они сочли ненужным для себя и его устав⁴. Общность политических взглядов – вот что в этих случаях объединяет ремесленников, быть может, и более образованных, но, пожалуй, уже и не столь сплоченных между собой. В Париже значение компаньонажа все более сходит на нет, и перед лицом новых разнообразных задач и интересов его общества постепенно теряют связь между собой. Ни одно из них не в состоянии было бы взять в свои руки всю работу. К тому же скептический дух, рожденный более высокой степенью цивилизации, заставляет расставаться со старинными порядками компаньонажа, хотя, быть может, и преждевременно; ибо не существует еще братского союза, объединяющего всех рабочих, который способен был бы заменить собой эти отдельные общества. Тем не менее исконная вражда нередко дает себя здесь знать еще и в наши дни. Плотники, принадлежащие к свободным подмастерьям, селятся на левом берегу Сены, их противники, прохожие подмастерья, – на правом. Между ними существует уговор – работать только на том берегу, где находится их жилище. Тем не менее они то и дело дерутся между собой, да и другие товарищества не всегда живут в ладу друг с другом. Но вообще говоря, компаньонаж с его властью над ремесленниками, со всеми его накаленными страстями здесь, в Париже, как бы рассеивается и поглощается тем великим движением, которое в независимом и неуклонном своем стремлении вперед увлекает за собой все и всех. В провинции же он сохранил еще свое значение, и множество молодых людей, которых влечет на этот путь предприимчивый характер, любовь к прогрессу, желание бежать невежества, нищеты и одиночества, обретают в компаньонаже мастерство, воинственный пыл, дух единения и привычку к организации. Это благородные разведчики, передовой отряд великой армии тружеников, бродячие художники ремесел, отважные мамертинцы^[33] легендарного Рима. Одних на эту стезю толкает отсутствие семьи и необходимость заработать себе на обустройство, других – желание сбросить путы семейного деспотизма. Изменение обстоятельств, несчастная любовь, естественное желание обрести самостоятельность, а более всего потребность видеть мир, жить и дышать – вот что ежегодно приводит на дороги страны лучшую и самую горячую часть молодежи. Хождение по Франции, этот поход странствующих рыцарей ремесла, это паломничество смельчаков в поисках удачи – поэтический этап в жизни ремесленника. Тот, у кого нет ни кола ни двора, отправляется искать свое счастье под покровительством усыновляющей его отныне заботливой семьи, которая уж не оставит сына до самой кончины, а после смерти проводит в последний путь. Тот же, кому от рождения обеспечено приличное положение в родной стороне, ищет выхода неистраченным силам юности, жаждет познать радости этого кипучего существования. Ему еще предстоит вернуться в отчий дом, остепениться, зажить домоседом, работая, как и все его ближние, от зари до зари. И, может, за всю его жизнь не выпадет ему больше ни года, ни месяца, ни даже недели такой привольной жизни. Так надо же хоть на какое-то время дать выход тому смутному томлению, что гонит его вон из дома, – надо попутешествовать! Потом он возвратится, вновь возьмет отцовский напильник или молот, но по крайней мере у него будет что вспоми-

⁴ В них невозможно стало и дальше придерживаться обычаев, восходящих еще к далекому Средневековью; новых кандидатов отпугивали варварские обряды, которые стремились сохранить приверженцы старого. (Примеч. автора.)

нать – он повидает белый свет и сможет рассказывать друзьям и детям, как велика и прекрасна Франция, – ведь он всю ее обошел в бытность свою странствующим подмастерьем!

Это отступление было, мне кажется, необходимо, чтобы сделать более понятным мой рассказ. А теперь, любезные читатели и вы, добрые подмастерья, позвольте мне устремиться вслед за моими героями, которые ведь не остались стоять, подобно мне, на дороге, ведущей к Блуа.

Глава XI

На башенных часах собора пробило уже десять, когда они подошли к Блуа. Хорошо отдохнув в «Колыбели мудрости», они прошли весь путь при свете звезд, тихо разговаривая и не чувствуя никакой усталости. Теперь они направлялись к *Матери* своего союза.

Матерью называется корчма, где живут, питаются и устраивают свои сборища подмастерья одного и того же союза. Хозяйка такой корчмы тоже называется Матерью, а если это хозяин, то и его, даже если он холостяк, тоже так величают, и нередко случается, что подмастерья, играя словами, обращаясь к какому-нибудь почтенному корчмарю, называют его папаша Мать.

Амори Коринфеец не был в Блуа уже около года. Еще в пути Пьер заметил, что, по мере того как они приближаются к городу, друг его становится все рассеянее. Когда же они вошли в город, Амори стал проявлять столь явные признаки беспокойства, что Пьер даже удивился.

– Что с тобой? – спросил он. – То ты мчишься вперед, и за тобой не угнаться, то ползешь так медленно, что приходится останавливаться и ждать. На каждом шагу ты спотыкаешься. То ли тебе не терпится поскорее дойти, то ли, напротив, ты боишься этого.

– Не спрашивай меня ни о чем, милый мой Вильпрё, – отвечал ему Коринфеец. – Да, ты не ошибся. Я волнуюсь, но почему – сказать не могу. Ты знаешь, от тебя я ничего никогда не скрывал; может быть, когда-нибудь я открою тебе эту тайну, но время для этого пока еще не настало.

Пьер ни о чем не стал его расспрашивать, и несколькими минутами позже они уже вошли в корчму, расположенную в предместье города, на левом берегу Луары. Здесь все было по-прежнему – всюду царили чистота и порядок. Подмастерья узнали хозяйскую собачонку, из дверей выглянула знакомая служанка. Только хозяин корчмы не вышел им навстречу, чтобы по-братски обнять, как это бывало прежде.

– А где же друг Савиньен? – неуверенно спросил Амори.

Но вместо ответа служанка сделала ему знак замолчать, показывая глазами на маленькую девочку, которая, стоя на коленях у очага, молилась на сон грядущий. Амори, решив, что служанка просит его не мешать детской молитве, молча склонился над маленькой Манеттой и только слегка коснулся губами крупных завитков ее волос, выбившихся из-под стеганого чепчика... И, увидев, с какой тоской и нежностью он смотрит на девочку, Пьер начал догадываться, о какой тайне говорил его друг.

– Господин Вильпрё, – сказала между тем служанка, отведя Пьера в сторону, – не надо при малютке говорить о покойном хозяине, бедняжка каждый раз слезами заливается! И двух недель ведь еще нет, как мы схоронили господина Савиньена. Бедная хозяйка! Все глаза выплакала.

Не успела она произнести эти слова, как дверь растворилась и на пороге в глубоком трауре, в черном чепчике, появилась вдова покойного Савиньена, та, которую подмастерья величали Матерью. Это была женщина лет двадцати восьми, прекрасная, словно Рафаэлева мадонна, с выражением спокойствия и благородной кротости на тонком лице. Недавно пережитое глубокое горе придавало ее взгляду выражение какой-то самоотверженной стойкости, и от этого весь облик ее казался еще более трогательным.

Она несла на руках второе свое дитя, полураздетого и уже уснувшего мальчугана, пухленького, свежего, словно утро, с золотистой, как янтарь, кудрявой головкой. Свет лампы падал прямо на Пьера Гюгенена, и потому Мать первым увидела его.

– Вильпрё, сын мой! – воскликнула она, и грустная, ласковая улыбка озарила ее лицо. – Добро пожаловать, вы, как всегда, желанный гость в нашем доме, но, увы, здесь осталась одна только Мать. А Савиньен, ваш отец, уже на небесах, у Господа Бога.

При первом же звуке ее голоса Коринфец стремительно повернулся к ней, и невольный крик вырвался из его груди при этих словах.

– Умер?! – вскричал он. – Савиньен умер? Так, значит, Савиньена⁵ теперь вдова?

И в растерянности он опустился на стул.

При звуке его голоса грустное спокойствие Савиньены вдруг сменилось глубочайшим волнением. Поспешно передав Пьеру спящего ребенка, чтобы не уронить его, она сделала шаг к Коринфцу, но тут же, опомнившись, смущенная, растерянная, остановилась; а Коринфец, тоже уже готовый броситься к ней, вскочил, но снова упал на стул и спрятал лицо в кудри маленькой Манетты, которая, все еще стоя на коленях, горько заплакала, услышав имя своего отца.

Тогда Мать овладела собой и, подойдя к Коринфцу, сказала ему со спокойным достоинством:

– Видите, как плачет моя девочка. Она потеряла отца, а вы, Коринфец, вы потеряли друга.

– Будем плакать о нем вместе, – прошептал Амори, не смея ни взглянуть ей в лицо, ни дотронуться до протянутой ему руки.

– Не вместе, нет, – так же тихо ответила Савиньена, – но я слишком уважаю вас, чтобы усомниться в том, что это горе и для вас.

В эту минуту кто-то раскрыл дверь, ведущую в корчму, и Пьер увидел, что там за длинным столом сидят подмастерья. Их было человек тридцать, но вели они себя так тихо, что невозможно было даже заподозрить, что рядом находится столько молодежи. Со времени кончины Савиньена постояльцы, из почтения к его памяти и уважения к горю семьи, совершали свои трапезы в полном безмолвии, пили умеренно и говорили вполголоса. Однако, узнав Пьера Гюгенена, они не смогли сдержать излияний радости; некоторые вбежали в комнату, чтобы обнять его, другие просто вскочили со своих мест, и все махали своими колпаками или шапками в знак приветствия, даже те, кто не был с ним знаком, ибо им уже успели шепнуть, что это один из лучших подмастерьев общества, тот самый, кто был первым подмастерьем в Ниме, а потом старейшиной в Нанте.

После первых радостных восклицаний (те, кто знал Амори, приветствовал также его, и не менее сердечно) обоих пригласили к столу. Мать, быстро справившись со своим волнением, как это умеют делать только люди труда, принялась хлопотать, чтобы накормить их ужином.

Пьер Гюгенен слышал, как служанка шепнула ей:

«Не беспокойтесь, хозяйка, идите укладывайте ребенка, я подам им все, что нужно», на что та ответила: «Нет, детей уложи ты, а я сделаю здесь все сама».

И, поцеловав своих малюток, она принялась угощать Коринфца с усердием, в котором чувствовалось нечто большее, чем обычное радушие хозяйки. Она потчевала и Гюгенена с тем хлебосольством, обходительностью и домовитостью, которые снискали ей среди подмастерьев славу образцовой Матери. Но словно какая-то непреодолимая сила заставляла ее то и дело возвращаться к месту, где сидел Коринфец. Она не смотрела на Амори, даже не прикасалась к нему, когда склонялась над ним, подавая ему какое-нибудь блюдо, но заранее угадывала каждое его желание и терзалась, видя, что он даже куска не в силах проглотить.

– Дорогие мои друзья подмастерья, – сказал Лионец Благодетель, наполняя свой стакан, – я пью за здоровье Вильпрё Чертежника и Коринфца из Нанта: пью за обоих сразу, ибо имена их нераздельны, как нераздельны их сердца. Они братья по обществу, и дружба их подобна той, которую питал наш поэт Нантец Выручатель к возлюбленному своему Першерону. – И он затянул низким голосом первые строки песни поэта-столяра:

⁵ В провинциях центральной Франции, где, как известно, не существует слово «госпожа» в применении к женщине из народа, замужнюю женщину принято называть именем ее мужа с женским окончанием; например, жена Рамоне – Рамонетта, жена Сильвена – Сильвена и т. д. (Примеч. автора.)

На свете плохо жить тому,
Кто друга не имеет^[34].

– Неплохо сказано, да плохо спето, – заметил Бордосец Чистое Сердце.

– Как так плохо спето? – возмутился Лионец Благонравный. – Ну-ка, послушайте, я спою другое:

Искусный мастер Першерон,
И славы он достоин...

– Плохо, говорю вам, плохо, просто никуда не годится, – сказал Чистое Сердце. – Кто поет не к месту, всегда поет скверно! – И, призывая певца к порядку, он незаметно глазами показал ему на Мать.

– Да пусть себе поет, – мягко сказала Савиньена, – не лишайте его удовольствия; это пустяки, ведь поет-то он про дружбу...

– Когда этак начнешь, потом уж не остановиться, – заметил Чистое Сердце, – и раз мы договорились без повода здесь не петь...

– Значит, петь и не будем, – подхватил Благонравный. – Что верно, то верно, это я оплошал. Спасибо, брат, за науку. Ну а выпить-то за друзей глоточек, а то и два-три, все-таки можно?

– Не больше трех, только чтобы утолить жажду, – сказал Марселец Светлая Голова. – Ведь так мы договорились? Нельзя нам здесь шуметь. Что, если кто из деворанов услышит шум в доме нашей Матери, только что похоронившей мужа? Да и кто из нас позволил бы себе огорчить ее, нашу Савиньену, всегда такую спокойную, домовитую, честную, добрую да красивую?

– Вот за нее-то я и выпью второй глоток, – вскричал Лионец Благонравный, – а вы что же это не пьете, земляк?⁶ – прибавил он, заметив, как дрожит стакан в протянутой руке Амори. – Да уж не лихорадка ли у вас?

– Молчите, – прошептал Морвандец Бесстрашный на ухо соседу, – этот земляк в прежние времена приударивал за Матерью, только женщина она честная и слушать ничего не стала...

– Еще бы! – сказал Благонравный. – Но что ни говори, малый он красивый – просто кровь с молоком, волосы русые, а подбородок – что твой персик, да и вообще парень сильный да ладный. Говорят, у него еще и большой талант в придачу?

– Может, даже больший, чем у Чертежника. Во всяком случае, не меньший. А только они друг другу не соперники – ни в работе, ни в любви.

– Тише, – шепнул сидевший рядом и слышавший весь разговор Марселец Светлая Голова, – вон идет старейшина, не дай бог услышит что-нибудь неуважительное насчет Матери, тут уж добра не жди.

– А ничего неуважительного никто о ней и не говорит, дорогой земляк, – ответил на это Морвандец Бесстрашный.

В комнату вошел старейшина, и Пьер, узнав в нем Романа Надежного Друга, поднялся ему навстречу; вдвоем они вышли в соседнюю комнату, чтобы обменяться положенными приветствиями, ибо, будучи оба старейшинами, могли держаться друг с другом как равные. Впрочем, у Пьера звание это было теперь лишь почетным. Срок полномочий старейшины длится всего полгода, к тому же двое старейшин не могут одновременно пользоваться своей властью в

⁶ Каменщики, независимо от того, к какому они принадлежат союзу, называют друг друга товарищами, подмастерья всех других ремесел – земляками. (Примеч. автора.)

одном и том же городе, так что здесь, в Блуа, Пьер обязан был подчиняться Романе Надежному Другу, как и любой другой подмастерье.

Они вернулись в общую комнату, и только тут Романе заметил Коринфца. При виде его он побледнел, однако обнялись они весьма сердечно.

– Добро пожаловать, – сказал старейшина. – Я вызвал вас для участия в состязании. Рад видеть, что вы согласны, и благодарю вас за это от имени общества. Этот юноша, земляки мои, один из самых даровитых людей, которых я знаю. Вы и сами скоро убедитесь в этом. Земляк Коринфец, – добавил он немного тише и тщетно стараясь скрыть тревогу, которая вдруг зазвучала в его голосе, – вы знали о том, что мы потеряли Савиньена, почтенного нашего отца?

– Нет, я узнал об этом только здесь и очень опечален этим известием, – ответил Амори самым искренним тоном, который явно успокоил старейшину.

– И вас тоже мы рады видеть, земляк, – продолжал Романе, обращаясь к Пьеру Гюгену, – ведь не зря вас прозвали Чертежником: человек вы ученый, даром что так скромны. Мы бы и раньше пригласили вас принять участие в конкурсе, если бы знали, где вас искать. Но раз вы явились сами, что свидетельствует о вашей верности священному нашему союзу, мы просим вас об этом теперь. У нас не много таких умельцев, как вы.

– Сердечное вам спасибо, – отвечал Гюгенен, – но я пришел в Блуа вовсе не ради состязания. Дело, которое привело меня сюда, не позволяет мне долго задерживаться здесь. Я ищу рабочих. Мой отец, мастер Гюгенен, поручил мне нанять здесь двух подмастерьев.

– Так наймите их и отправьте к отцу, а сами оставайтесь. Речь идет о чести Союза долга и свободы, ради этого можно, я полагаю, поступиться любыми обязательствами.

– Но не этими, – отвечал Пьер Гюгенен, – обязательства мои такого рода, что я не могу ими пренебречь: речь идет о чести моего отца и моей собственной.

– В таком случае не стану задерживать вас, – сказал старейшина.

Наступило молчание. Среди сидевших за столом были подмастерья разных степеней: *принятые*, то есть уже получившие это звание, *закончившие учение* и *кандидаты*; было здесь немало и учеников, ибо у гаво царит полное равенство. Работники всех степеней вместе едят, обсуждают свои дела и принимают решение общим голосованием. Среди всех этих молодых людей не было ни одного, кто не мечтал бы принять участие в состязании; но участвовать в нем должны были лишь самые искусные, так что у многих не было даже надежды попасть в число соперников; и поэтому никто не мог представить себе, что можно отказываться от подобной чести. И они переглядывались между собой, удивленные и даже возмущенные ответом Пьера Гюгенена. Однако старейшина, желавший избежать бесплодных споров по этому поводу, вел себя так, что никто из присутствующих не посмел высказать свое недовольство.

– Все вы знаете, – сказал он, обращаясь к подмастерьям, – что завтра, в воскресенье, состоится общий сход. Вербовщик уже известил вас об этом. Приглашаю вас присутствовать на нем всех, дорогие земляки. И вас тоже, земляк Вильпрё. Вы поможете нам своими советами и этим хоть в какой-то степени послужите своему обществу. Что же до рабочих, которых вы ищете, постараемся вам помочь.

– Должен, однако, предупредить, – сказал ему Гюгенен, немного понижая голос, – что столяры мне нужны самые искусные, ибо речь идет о тончайшей работе, которая требует изрядного опыта.

– Ну, таких вы сейчас вряд ли найдете, – с чуть пренебрежительной усмешкой заметил вербовщик⁷, – ведь всякий, в ком есть смелость и хоть капля таланта, будет стремиться сейчас

⁷ Обязанностью вербовщика является предоставление рабочих тем хозяевам, которые желают их нанять, и закрепление их найма определенными формальностями. Он же провожает уходящих из города подмастерьев до городской заставы, дает им расписки и. т. п. (Примеч. автора.)

остаться в Блуа из-за состязания. Разве что после первого тура вам удастся кого-нибудь заполучить, да и то не из самых лучших, потому что лучших мы отберем для последнего тура.

Между тем ужин кончился, и подмастерья, прежде чем расстаться, разбрелись по комнате, собираясь отдельными группами и беседуя о своих делах.

Бордосец Чистое Сердце подошел к Пьеру Гюгенену и Амори.

– Все же очень странно, – обратился он к Пьеру, – что вы не хотите участвовать в состязании. Говорят, вы самый искусный из всех нас. Если это так, то вам тем более должно быть стыдно изменять нашему знамени накануне сражения.

– Когда б я верил, что это сражение действительно принесет нашему обществу пользу и послужит к его чести, – отвечал Гюгенен, – я ради него пожертвовал бы не только что своими интересами, но даже собственной честью.

– А вы, что же, не верите в это? – вскричал его собеседник. – Вы считаете, что девораны искуснее нас? Но тем более обязаны вы в этом случае участвовать в общей борьбе, бросить свое имя, свой талант на нашу чашу весов!

– Есть искусные работники у деворанов, есть они и у нас. Я не имею в виду исход состязания. Будь даже победа наша заранее предрешена, я и тогда был бы против конкурса.

– Странные у вас взгляды, – заметил Чистое Сердце, – и я не советовал бы вам высказывать их столь же откровенно перед другими. Не все земляки могут оказаться здесь такими же терпимыми, как я, и вас, чего доброго, заподозрят в побуждениях, недостойных вашего имени.

– Не понимаю, что вы хотите сказать, – сказал Пьер.

– Но... видите ли... – замялся Чистое Сердце. – Если человеку не дорога слава его отечества, он плохой гражданин, а подмастерье, который не дорожит...

– Теперь я понял, – перебил его Пьер, – но я полагаю иначе: именно потому, что мне дорога слава нашего общества, я и стремлюсь доказать, что это состязание принесет ему только вред.

Пьер говорил все это достаточно громко, чтобы слова его были услышаны, и вокруг него стали собираться подмастерья. Заметив, что их становится все больше и страсти готовы разгореться, старейшина, раздвинув толпу, подошел к Пьеру.

– Дорогой земляк, – сказал он ему, – здесь не время, да и не место высказывать взгляды, противоречащие общему мнению на этот счет. Если есть у вас что сказать по поводу наших дел, вы можете сделать это завтра перед всем собранием. И можете мне поверить: если в том, что вы скажете, будут здравые мысли, с вами охотно согласятся; в противном случае вам простят ваши заблуждения.

Выслушав это разумное решение, подмастерья начали расходиться. Большая часть их тут же у Матери и квартировала. Служанка проводила Гюгенена и Амори в отведенную им комнатку. Сама Савиньена еще до конца ужина ушла к себе.

Как издавна ведется это в народе среди друзей, Гюгенен и Амори легли вдвоем на одну постель. Уставшего за день Пьера изрядно клонило ко сну, однако, видя, как взволнован его друг, он переборол себя, чтобы выслушать его.

– Брат мой, – начал Амори, – помнишь, я говорил давеча, что наступит, может быть, время, когда я смогу поверить тебе свою тайну. Так вот, оно наступило раньше, чем я думал; узнай же, что я люблю Савиньену.

– Сегодня вечером я догадался об этом, – отвечал Пьер.

– Да, – продолжал Коринфец, – когда я вдруг услышал, что она теперь свободна, я не в силах был совладать с собой и, как видно, выдал себя... Меня охватило чувство безумного счастья. Но голос совести тотчас же заглушил преступное это чувство. Савиньен был ведь так добр ко мне. Достоинейший этот человек питал ко мне особую привязанность. Ты помнишь, он звал меня своим Вениамином^[35], Иоанном Крестителем, своим Рафаилом^[36]. Он был человеком начитанным и таким возвышенным в своих мыслях и выражениях. Что за превосходный

человек! Я готов был жизнь свою отдать за него, да и теперь отдал бы, если бы это могло воскресить его; ведь Савиньена любила его, она была счастлива с ним... Он был более нужным, более достойным человеком, чем я!

– Я понял все, что творится в твоём сердце, – сказал Чертежник.

– Неужели?

– Когда любишь человека, в сердце его читаешь, словно в открытой книге. Но что же будет дальше? Есть ли у тебя какая-нибудь надежда? Савиньена понимает, что ты любишь ее, и, сдаётся мне, отвечает тебе тем же. Но захочет ли она взять тебя в мужа? Не побоится ли, что ты слишком молод и слишком беден, чтобы стать опорой её семьи, отцом её малюток?

– Вот этого я и опасаюсь, это и мучит меня. Однако ведь я трудолюбив, не правда ли? Годы хождения по Франции не прошли для меня напрасно, дело своё я знаю. У меня нет дурных склонностей, а уж её-то я так люблю, что не может она быть несчастна со мной! Или ты думаешь, я недостойн её?

– Уверен, что достоин, и если бы она спросила совета у меня, я рассеял бы все её сомнения.

– О, если бы ты мог сделать это, мой друг! – воскликнул Коринфец. – Поговори с ней, постарайся выведать, что она думает обо мне.

– Но для этого неплохо бы мне все-таки знать, было ли что между вами до сих пор и что именно, – улыбаясь, сказал Пьер. – Тогда и весь этот разговор, который ты мне поручаешь, был бы проще и для меня и для неё.

– Я расскажу тебе все, – с готовностью отвечал Амори. – Я прожил здесь около года. В ту пору мне не было ещё и семнадцати лет (теперь-то уже девятнадцать!). Пришел я сюда простым учеником, довольно скоро получил звание подмастерья, и поэтому у Савиньена и его жены составилось обо мне хорошее мнение. А отличился я на работах в префектуре, здание это как раз тогда перестраивали. Впрочем, ты знаешь все это сам; ты же ведь и был моим поручителем, когда меня принимали в подмастерья. После этого ты пробыл здесь ещё полгода. Это я помню точно, потому что в тот самый день, когда мы провожали тебя в Шартр, я впервые понял, что люблю Савиньену. Вот как это было. Мы провожали тебя по всем правилам до проезжей дороги. Ты шел впереди, а мы – вслед за тобой в два ряда, все с посохами, увитыми лентами, и время от времени останавливались, чтобы выпить за твоё здоровье. Вербовщик нес твой посох и дорожный мешок. Я запевал прощальные песни, а остальные подхватывали припев. Вся эта церемония проводов ведь так торжественна и почетна и я так был горд, что все это делается в твою честь, что пришел в какое-то особенное, приподнятое расположение духа. И когда настал час расставания, я обнял тебя, не проронив даже слезинки, и вместе с другими пошел обратно в город. Всю дорогу я весело пел, совсем не думая о том, какое одиночество ждет меня впереди, теперь, когда нет больше со мной друга, бывшего мне и наставником и покровителем. Должно быть, выпитое вино ударило мне в голову, я ведь непривычен к нему и, боюсь, так никогда и не привыкну... Но вот винные пары рассеялись, и я вдруг все вспомнил. Остальные ещё продолжали веселиться, сидя вокруг стола, а я сидел у очага один-одинешенек, и такая грусть на меня напала, что я не выдержал и разрыдался. И тогда Мать – она была как раз рядом, потому что готовила ужин для постояльцев, – подошла ко мне. Мои слезы растрогали её, и она стала гладить меня по голове, совсем как гладит своих детей, когда ласкает их. «Бедненький мой Нантец, – сказала она, – ты добрее их всех. Они, как проводят друга, только и знают, что пить да горланить, пока не охрипнут и с ног не свалятся. У тебя же сердце нежное, словно у женщины, и счастлива будет та, которую ты назовешь когда-нибудь своей женой. А пока мужайся, бедный мой мальчик! Ты не будешь чувствовать себя одиноким. Все земляки любят тебя за то, что ты славный парень и работник хороший. Отец Савиньен говорит, что он рад был бы иметь такого сына, как ты. А я – я буду тебе матерью, слышишь? Не только в том смысле, как для всех остальных подмастерьев, но еще иначе – родной матерью. Ты будешь делиться со

мною своими заботами и горестями и говорить мне все-все, а я стану утешать тебя и помогать тебе». С этими словами добрая женщина поцеловала меня в голову, и из ее прекрасных черных глаз на мой горячий лоб упала слеза... Этого мне никогда не забыть, живи я даже столько, сколько Агасфер... И тогда сердце мое наполнилось нежностью к ней, и, скажу правду, о тебе в тот вечер я почти забыл. С того дня я глаз не спускал с Савиньены, ни на шаг не отходил от нее. Она позволяла мне помогать ей по хозяйству, и добрый Савиньен все говорил, бывало, глядя на меня: «Что за услужливый паренек, что за милое дитя, какое доброе у него сердце!». Он не подозревал, что с того вечера я стал его соперником, что я люблю его жену вовсе не сыновней любовью.

И он об этом так никогда и не узнал. Чем сильнее разгоралось мое чувство, тем доверчивее он становился. В свои пятьдесят лет он не представлял себе, чтобы такой мальчик, как я, мог питать к Савиньене какие-либо чувства, кроме чисто сыновних. Но он забывал, что по годам Савиньена годится ему в дочери и такого сына, как я, у нее быть не могло. Савиньена – та догадывалась о моих чувствах, хотя я ни разу не посмел открыться ей. Я понимал, что это было бы преступно, – ведь Савиньен был всегда так добр ко мне. И потом, я знал, что она женщина честная. Никто из подмастерьев, самый наглый, никогда не посмел бы даже в самом сильном хмелю обойтись с ней непочтительно. Но мне не нужно было ничего говорить, глаза мои невольно выдавали мою любовь. Едва, бывало, кончу я работу, как уже бегу со всех ног в дом Матери и всегда прибегаю первым. К детям ее я относился с такой любовью и такой заботой, будто это родные мои дети. В ту пору она как раз отлучила от груди сынишку и от этого хворала; ребенок ночью кричал, мешал ей спать. Служанке она боялась его доверить, потому что у той больно крепкий сон. И тогда она позволила мне брать его на ночь в мою постель. Всю ночь не смыкаю я, бывало, глаз, ношу его взад и вперед по комнате, баюкаю, пою ему песенку про курочку, что снесла серебряное яичко, и чувствую себя до того счастливым! Так продолжалось целых два месяца. И малютка так ко мне привык, что потом, когда Савиньена поправилась, он уже не пожелал уйти от меня и все то время, что я здесь жил, так и спал со мной. Ведь нет, мне кажется, уж более нежных, чем те, что связывают женщину с человеком, который любит ее дитя и которого оно любит. Мы с Савиньеной жили словно брат с сестрой. Когда она, бывало, разговаривала со мной или просто смотрела на меня, в глазах ее была ангельская доброта, и я так был счастлив! Был, правда, рядом с нами человек, который мог бы внушить беспокойство и Савиньену и мне. Человек этот – Роман Надежный Друг, тот, что теперь старейшина. Какой благородный это человек, что за доброе у него сердце! Он любил Савиньену так же, как я, и, кажется мне, будет любить ее всю свою жизнь. А у Савиньены в то время дела шли из рук вон плохо. У него был, правда, кредит, но денег совсем не было, и ему из года в год приходилось выплачивать свой долг. Ведь корчма эта была куплена им за деньги, взятые в долг под честное слово. Больших доходов она не приносила, слишком для этого был он честен. И он со страхом ждал той минуты, когда придется ему отказаться от нее. Будь у меня хоть какие-нибудь сбережения, я счастлив был бы помочь ему! Но в ту пору то, что было на мне, являлось единственным моим достоянием. Того, что я зарабатывал, едва хватало, чтобы расплатиться с долгом Савиньену – ведь я, пока был учеником, не платил ни за еду, ни за постой. Другое дело Роман. Он-то был богат, у него после отца оставался участок. Вот он и продал его за несколько тысяч экю, а деньги отдал Савиньену, но при этом и слышать не хотел о каких-либо векселях или процентах, а только сказал, что тот может вернуть их ему через десять лет, если не сумеет сделать этого раньше. Спору нет, он поступил так из дружеских чувств к Савиньену, я не хочу отрицать, что у него доброе сердце, но все же ясно, что он совершил это благое дело еще и потому, что здесь была замешана Савиньена. Держался он с ней по-прежнему, все так же почтительно, и так же, как я, никогда не посмел бы нарушить свой долг дружбы по отношению к Савиньену. Вот так мы оба и любили ее, а она обращалась с нами как с лучшими своими друзьями. Только Роман видел ее реже – видно, он стеснялся приходить часто после того,

как их из беды выручил, да и жил-то он в городе, а не в материнском доме, как я. В общем, неважно почему, но мне Мать оказывала заметное предпочтение. Романе был ей словно ангел-хранитель, к нему она относилась почтительно, а ко мне так ласково, словно к собственному ребенку. И не было на всем белом свете более дружных и счастливых людей, чем Савиньен, его жена, Романе и я.

Но настало время и мне покинуть Блуа. Работы в префектуре были закончены, многие рабочие остались без дела, в город прибыли молодые подмастерья, и старым надлежало уступить им место. Среди них оказался и я. Было постановлено устроить нам проводы и направить нас в Пуатье.

Тут только понял я, как сильно люблю. Я словно обезумел, и мое отчаяние открыло Савиньене больше, чем все слова, которые я мог сказать ей, когда бы посмел. И только благодаря ей я нашел в себе силы повиноваться своему союзу. Она взывала к моей совести, говорила о моей и своей чести, и среди этих увещаний были произнесены нами слова, которых нельзя было уже взять обратно. И я ушел, ушел с разбитым сердцем, и с тех пор нет для меня на свете женщин, кроме Савиньены, ни на одну из них за это время я даже не взглянул. Я все так же чист, как в тот памятный вечер, когда ты ушел из Блуа, а я сидел у очага и она поцеловала меня в лоб...

Растроганный этой повестью о наивной и чистой страсти, Пьер обещал другу быть посредником в его любви и не уходить из Блуа, прежде чем не узнает намерений Савиньены и не приоткроет завесы, скрывающей от Коринфца его грядущий день.

Глава XII

Назавтра (разумеется, это было воскресенье) все подмастерья и ученики, принадлежавшие к местному товариществу Союза долга и свободы, с самого утра собрались вместе, чтобы обсудить различные вопросы, касающиеся состязания. Поскольку предназначенное для сходов помещение в то время ремонтировалось и там орудовали каменщики, собрание происходило на этот раз в риге у Савиньены. Все присутствующие сидели попросту на вязанках соломы; для одного только старейшины был поставлен стул, а перед ним – столик, вокруг которого расположились секретарь и старшина. Первоначально Пьер намерен был пораньше закончить свои дела и утром же пуститься в обратный путь. Но не говоря уже о том, что вербовщик оказался прав и ему не удалось найти ни одного сносного рабочего, который согласился бы в такое время покинуть Блуа, Пьер считал своим долгом откликнуться на предложение Романа и выступить на собрании. После того как было установлено, какое именно изделие будет предметом соревнования, и присутствующие собрались уже перейти к выборам соревнующихся, он попросил дать ему слово, надеясь сразу же после этого уйти. Слово ему предоставили. И хотя всего более присутствующих волновал вопрос, ради которого они собрались, все они с интересом приготовились слушать Пьера. Каждому любопытно было, что скажет этот всеми уважаемый подмастерье против столь достославного, священного дела, как борьба с деворанами. Пьер начал с того, что победа в подобных состязаниях есть дело случая: как бы тщательно ни было подобрано жюри, каким бы ни было оно неподкупным, оно не застраховано от ошибок; в области искусства нет ничего неоспоримого: публика нередко склонна проявлять дурной вкус, а побежденные все равно не согласятся признать себя хуже победителей. Следовательно, люди, которые полагают, будто состязание принесет союзу славу и почести, заблуждаются и только обманывают себя.

Он указал также на те огромные расходы, которых потребует состязание. Во время изготовления шедевра соревнующиеся не смогут зарабатывать себе на пропитание, и общество должно будет содержать их, а затем возмещать эти затраты из общественных средств, да еще в течение пяти или шести месяцев оплачивать сторожей, приставляемых к соревнующимся на все время их работы. Все это, несомненно, ввергнет общество в долги на многие годы. Пьер начал подтверждать свои мысли цифрами, но тут его прервал ропот возмущения, ибо среди присутствующих были люди с болезненным самолюбием, с которыми, как только дело касалось их опыта и таланта, шутки были плохи. И как это бывает во всяком собрании, каковы бы ни были его участники и какие бы вопросы оно ни ставило, именно эти горячие, тщеславные головы в конце концов и одержали верх, сумев внушить остальным, что самое главное – это дать им возможность покрасоваться и восторжествовать над другими. И когда Пьер Гюгенен, обращаясь к собранию, спросил: «Какая будет польза обществу от того, что полдюжины его членов потеряют шесть месяцев на создание какой-нибудь ненужной вещи, которая потребует огромных расходов и единственное назначение которой быть памятником нашего безрассудства и тщеславия?», ему закричали в ответ:

– А если обществу угодно взять на себя эти расходы, вам-то что? Не хотите участвовать в них, ну и не надо – поблагодарите общество⁸, и дело с концом. Ведь вы вольны делать что хотите – ваше хождение по Франции закончено!

⁸ Поблагодарить общество означает для подмастерья устраниваться от всякого участия в его расходах, доходах и всякого рода предприятиях. Он сохраняет с ним, так сказать, сердечную связь, но формально считается свободным от всяких обязательств. (Примеч. автора.)

И Пьеру с трудом удалось втолковать им, что, будь он богат, он предпочел бы взять все эти расходы на себя, чем допустить, чтобы общество разорилось или вошло в долги на двадцать лет вперед.

– Общество пойдет для этого на все жертвы, если это понадобится, – отвечали ему. – Честь дороже денег! Дайте нам только хорошенько сбить спесь с этих деворанов, доказать, что им нечего с нами тягаться, и заставить их убраться из Блуа – и вы увидите, жаловаться никому не придется!

– Вам-то не придется, – сказал на это Пьер одному из самых ярких приверженцев конкурса, – вас в случае победы ожидают и почет и слава, а в случае поражения вы тоже не в проигрыше – общество возместит вам ваши труды. А вот кто возместит убытки ученикам, тем юнцам, что сбегутся в ваши мастерские полюбоваться на ваши шедевры? Ведь им все это время не у кого будет учиться и не у кого работать! Или вы полагаете, им достаточно одного лицемерия того, что сделаете вы? На мой взгляд, соревнование дело хорошее, но лишь в том случае, если слава одних не идет во вред другим и за нее не придется расплачиваться ученикам, которые, восхищаясь вашим мастерством, сами так и не смогут выйти из состояния ученичества!

Эти разумные доводы начинали оказывать действие на тех присутствующих, которые не были лично заинтересованы в состязании. Стремясь еще больше отвратить их от этого честолюбивого намерения, Пьер решил воздействовать на них более высокими аргументами и, дав волю мыслям и чувствам, уже давно тревожившим его, заговорил о нравственной стороне подобного состязания.

– Не совершаем ли мы великую несправедливость, – сказал он им, – когда заявляем таким же, как мы, неимущим труженикам: этот город не может прокормить всех и позволить нам жить сообразно нашим притязаниям и нашему тщеславию; так давайте бросим жребий или померимся силами; победители пусть остаются, а побежденные уходят прочь; пусть бредут они босиком по тернистым дорогам жизни в поисках какого-нибудь глухого угла, где спесивые наши притязания не смогут их настичь! Вы скажете на это, что земля велика и работу можно найти повсюду? Да, пристанище и средства к существованию можно найти везде, если человек помогает человеку, но их нигде не найдешь (обойдите хоть всю вселенную!), когда люди хотят обособиться от себе подобных или объединяются в отдельные группы, завистливые и ненавидящие друг друга. Разве не поучителен пример богачей? Задумывались ли вы, по какому праву рождаются они счастливыми и за какие преступления обречены вы жить и умирать в нищете, почему они безмятежно наслаждаются жизнью, в то время как ваш удел – один только труд да нужда? Отчего все это происходит? Священники станут говорить вам, что такова воля Божья, но разве вы верите, что этого действительно хочет Бог? Нет, конечно! Вы убеждены в обратном, иначе вы были бы язычниками, поклоняющимися некоему несправедливому божеству, более жестокому, чем дьявол, враг рода человеческого. А хотите знать, каким образом возникло богатство и укоренилась нищета? Я скажу вам. Благодаря ловкости одних и простодушию других. Ловкие всё забрали себе – и богатство и почести, а те, кого они обделили, с этим покорно согласились, потому что ловкие сумели убедить их, что так и должно быть. И этих простаков оказалось такое великое множество, что и ваши предки и вы обречены не покладая рук безропотно работать на богачей. Вы считаете это несправедливым. С утра до вечера слышу я, как вы говорите об этом, и сам это повторяю. Почему же полагаете вы справедливым подвергать других тому, что считаете несправедливым по отношению к себе?

Некоторым из вас вопреки этому роковому предопределению иной раз удастся вырваться из нищеты. Но какой ценой? Чтобы достигнуть этого, нужны не только большое трудолюбие и настойчивость, но еще и большой эгоизм. Чтобы возвыситься над себе подобными, приходится быть скупым, жадным, жестоким. А кому из вас удастся сколотить себе небольшой капитал и открыть мастерскую? Лишь тому, кто получил наследство либо наделен особым талантом. Да, я знаю, талант достоин всяческого почтения, но разве великодушно допускать, чтобы человек

всю свою жизнь прозябал в нищете и умирал на соломе только потому, что Бог не вложил в него способностей или не наградил выносливостью? Разве это справедливо? В чем назначение нашего товарищества, в чем его цель? В том, чтобы более умелые и энергичные своим примером помогали более ленивым и неспособным избавиться от своих недостатков. А потому наша обязанность – поддерживать всякого менее способного члена общества нашими доходами, то есть нашим трудом, до тех пор, пока пример наш не пойдет ему на пользу и он не уразумеет, что ему тоже следует работать в полную меру своих способностей.

Таким образом, идея, лежащая в основе деятельности нашего общества, да и (уж позвольте мне сказать вам это) всех остальных обществ, – высока, нравственна, истинна, благородна и соответствует предначертаниям Соломоновым⁹. Но когда вы изыскиваете всякие способы, чтобы вытеснить из города ремесленников, принадлежащих к другому обществу, действия ваши противоречат и этой идее и высоким этим предначертаниям. Если некогда строители храма сочли за благо разделить на разные сословия, предводительствуемые разными вождами, то ведь только потому, что им предназначено было разбрестись по всей земле, дабы одновременно нести во многие концы ее светоч ремесел – сего великого блага человечества. Поверьте мне, и сыновья мастера Жака и сыновья мастера Субиза такие же сыны Соломоновы, как мы с вами...

Среди присутствующих поднялся ропот возмущения, и Чертежник, опасаясь, что его речь прервут на полуслове, поспешил поставить вопрос иначе, умело прибегнув к аллегории (более доступной их малопросвещенным умам):

– ...правда, сыны заблудшие, непокорные, если вам угодно, в своих долгих и тяжких странствиях предавшие забвению мудрые заповеди своего истинного отца и даже имя его. Возможно, Жак был самозванцем, который, вводя их в заблуждение, объявил себя пророком и велел поклоняться себе. Вот потому-то теперь они так иступленно ненавидят нас, и подстрекают, и всячески оскорбляют, стремясь отделиться от нас и оспорить священное наше право на труд – это наследственное достояние всех странствующих подмастерьев. Так что же, отвечать им злом на зло? Их ослепляет ненависть, они бесчеловечны – вы хотите быть такими же? Неужто примете вы их вызов на бой? О земляки, братья мои! Вспомните притчу о суде Соломоновом. Две женщины оспаривали друг у друга дитя, каждая заявляла, что ребенок ее. И повелел тогда Соломон разрезать ребенка надвое и каждой дать по половине. Та, которая была не настоящей матерью, согласилась, истинная же мать закричала, что согласна отдать его сопернице, лишь бы дитя осталось живым. Притча эта не символ ли судьбы нашей? Те, кто требует разделить землю и труд, так же безжалостны, как та женщина. Они забывают, что живое тело, рассеченное мечом ненависти на части, превратится в труп.

Долго еще говорил Пьер. Провиделось ли ему такое общественное устройство, при котором принцип свободы личности не противоречил бы интересам всех? Не знаю. Но верю, что недюжинный его ум способен был возвыситься до этой идеи, ныне овладевшей умами и сердцами лучших наших современников. Следует, однако, иметь в виду, что сенсимонизм (первая из современных доктрин, получившая в царствование Бурбонов широкое распространение) в ту эпоху еще только зарождался^[37]. Основные понятия новой социальной и религиозной философии созревали в тайных обществах или головах экономистов. Пьер, вероятно, никогда и не слышал об этом, но его здравый и достаточно развитой ум, душевный пыл и поэтическое воображение делали его человеком необыкновенным: в нем жила некая таинственная сила, заставлявшая вспомнить о тех боговдохновенных пастырях из старинных преданий, которым пророческий дар был дан от рождения. Можно было бы сказать вслед за Савиньеной, что устами его

⁹ Соломон в те времена являлся для подмастерьев (и еще долго останется для многих из них) своего рода кумиром, неким высшим существом, наделенным всяческими добродетелями, силой и могуществом. Имя это почти приравнивается к имени Божему, и Пьер Гюгенен прибегнул к нему для того, чтобы придать больше веса своему вдохновенному призыву. (Примеч. автора.)

говорит Господь, ибо, воодушевившись, он с детской наивностью касался самых животрепещущих вопросов человеческого бытия, сам не понимая, к каким высоким и еще неясно видимым вершинам возносит его мечта. Поэтому в речах его, смысл которых мы излагаем здесь в самых общих и грубых чертах, звучало нечто пророческое, и это производило огромное впечатление на людей с неискушенным умом и девственным воображением. Пьер уговаривал их отказаться от состязания, исход которого был неясен, и попытаться вступить с деворанами в мирные переговоры, ибо и они тоже устали от этих распрей и последнее время меньше свирепствуют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

«Странствующий подмастерье» был написан в 1840 году в Париже. Замысел романа точно датировать не удалось. Первое упоминание о «Подмастерье» в переписке Жорж Санд относится к августу 1840 года, когда роман был написан уже более чем наполовину. В сентябре Жорж Санд заключает договор с издателем Перротеном относительно публикации романа отдельным изданием. Два следующих месяца проходят за правкой корректур, и в декабре роман поступает в продажу.

2.

...во времена Республики... – Франция была республикой с 1792 по 1804 г.

3.

«Гурон» – комическая опера французского композитора Гретри (1741–1813) на сюжет повести Вольтера «Простодушный».

4.

Лагарп Жан-Франсуа (1739–1803) – французский драматург и литературный критик. Его антиклерикальная драма «Мелани» (1778) в дореволюционное время ставилась на частных сценах.

5.

Эпоха Регентства – годы правления Филиппа Орлеанского, который с 1715 по 1723 г. был регентом при несовершеннолетнем Людовике XV.

6.

...во времена эмиграции... – Имеется в виду эмиграция французской аристократии, вызванная революцией 1789 г. В 1815 г. с установлением режима Реставрации эмигранты вернулись во Францию.

7.

Ионик – архитектурный орнамент.

8.

...времен Карла Девятого... – Французский король Карл IX правил с 1560 по 1574 г.

9.

Морген Рафаэль (1758–1833) – итальянский гравёр.

10.

«Эмиль, или О воспитании» (1762) – педагогический роман Ж.-Ж. Руссо.

11.

Шатобриан Франсуа-Рене (1768–1848) – французский писатель. Его эпопея «Мученики, или Торжество христианства» (1809) рассказывает о гонениях на христиан в IV в.

12.

Де Севинье Мари (1626–1696) – великосветская дама. Ее письма к дочери получили признание как образец эпистолярного жанра.

13.

«Общественный договор», точнее – «Об Общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) – социально-политическое сочинение Жан-Жака Руссо.

14.

«Республика». – Имеется в виду сочинение Платона «Государство», посвященное исследованию природы общественной справедливости и наилучших форм государственного устройства.

15.

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» – 33-томное издание, осуществленное во второй половине XVIII в. группой французских философов и ученых во главе с Д. Дидро и Ж.-Л. д'Аламбером.

16.

...дети Соломоновы... – Согласно преданиям, товарищества подмастерьев вели свое происхождение со времен строительства иерусалимского храма при израильском царе Соломоне (X в. до н. э.).

17.

Девораны («пожиратели»). – Так называли себя члены некоторых союзов подмастерьев.

18.

...изучать всякие их франкмасонские штучки. – Тайные масонские союзы, получившие большое распространение в Европе XVIII и начала XIX в., возводили свою родословную к средневековым товариществам каменщиков и в своих организационных формах и ритуалах имели много общего с союзами подмастерьев.

19.

Гаво («жители горных долин»). – Так называли себя члены союзов подмастерьев, враждовавших с деворанами.

20.

Мастер Жак – согласно легенде, возникшей в Средние века и весьма распространенной в среде ремесленников, глава бригады каменотесов, работавшей на строительстве иерусалимского храма. Был убит якобы по наущению своего конкурента отца Субиза.

21.

Гизы – могущественный герцогский род, оспаривавший у королевского дома Валуа французскую корону и возглавлявший католическую партию в религиозных войнах XVI в. В 1588 г. в замке Блуа герцог Анри де Гиз и его брат Луи, кардинал де Гиз, были убиты по приказанию короля Генриха III.

22.

...спасалась бегством Мария Медичи, пленница родного сына. – Французская королева Мария Медичи (1573–1642) после смерти своего мужа Генриха IV (1610) была провозглашена регентшей при несовершеннолетнем Людовике XIII. Ее стремление сохранить за собою власть

привело к тяжелым смутам. Удаленная от двора, она жила в замке Блуа, откуда бежала в феврале 1619 г., чтобы начать против сына войну за престол.

23.

Слышал я, будто человек, который создал эту философию... был рабом. – Основатель стоической философии Зенон (конец IV – начало III в. до н. э.) рабом не был. Рабом был Эпиктет (конец I – начало II в.), виднейший представитель так называемой Новой Стой. Стоики учили следовать велениям разума и пренебрегать внешними условиями существования.

24.

...история с убийством Хирама во время постройки храма в Иерусалиме... – Хирам – царь города Тира на восточном побережье Средиземного моря. Он поставлял Соломону лес и посылал к нему строителей и ремесленников. Легенда отождествила его с Хирамом-медником, работавшим на строительстве храма и убитым, по одной версии, – завистниками, по другой – недовольными подмастерьями.

25.

...с гибелью храмовников... – Военный и религиозный орден храмовников был создан в 1118 г. для завоевания Святой земли. Оказывал значительное влияние на государственные дела в Европе XII и XIII вв. Стремясь подорвать могущество ордена и завладеть его казной, французский король Филипп Красивый добился от римского папы запрещения ордена (1312) и предал его членов суду, по приговору которого множество храмовников погибло на костре.

26.

Альбигойцы – члены религиозной секты, распространившейся в XI в. на юге Франции и проповедовавшей враждебное римской церкви религиозное и нравственное учение. В начале XIII в. по велению римского папы против альбигойцев был предпринят крестовый поход, опустошивший весь юг страны.

27.

Доминиканцы – члены религиозного ордена, основанного в начале XII в. для борьбы против альбигойской ереси.

28.

Вальденсы – члены религиозной секты, возникшей в XII в. на юге Франции и подвергавшейся непрерывным гонениям вплоть до XVI в. Вальденсы проповедовали всеобщее равенство и возврат к истинно христианским нравственным нормам, утраченным католической церковью.

29.

Пастурали – участники крестьянского религиозно-социального движения в центральной Франции в XIII в.

30.

Кальвинисты – последователи Жана Кальвина (1509–1564), основателя одной из протестантских доктрин во Франции.

31.

...являвшихся... приверженцами и последователями учения о «вечном Евангелии»... – Учением о «вечном Евангелии» называли учение одного из предшественников Реформации,

монаха Иоахима (XII в.), которое должно было заменить Священное Писание и стать для человечества окончательным законом.

32.

Вендетта – кровная месть у корсиканцев.

33.

Мамертинцы – наемные войска сиракузского царя Агафокла, которые в начале III в. до н. э. образовали в Сицилии разбойничью общину.

34.

На свете плохо жить тому... – Эти стихи, как и следующие за ними, Жорж Санд заимствовала из книги А. Пердигье «О компаньонаже», где автором их действительно называется поэт-ремесленник Дебуа, по прозвищу Нантец Выручитель.

35.

Вениамин – младший, любимый сын библейского патриарха Иакова.

36.

Рафаил – согласно библейской легенде, архангел, посланный Богом для исцеления слепого старца Товита.

37.

...сенсимонизм... в ту эпоху еще только зарождался. – Учение Сен-Симона к 1823 г. уже вполне сложилось. Однако широкую известность оно приобрело лишь в конце 1820-х гг. благодаря активной пропаганде, осуществлявшейся его последователями.